

Annotation

Известный прозаик и журналист рассказывает о встречах с политиками от Хрущева и Маленкова до Горбачева и Шеварнадзе, поэтах Твардовским, Симоновым

- [1. Хрущёв, Ерёменко, Аджубей и другие](#)
 - [2. Фидель Кастро, шахиня Сория и "примкнувшие" к ним](#)
 - [3. На Урале](#)
 - [4. В Зазеркалье](#)
 - [5. Александр Твардовский](#)
 - [6. Константин Симонов](#)
 - [7. Яковлев, Шеварднадзе и другие](#)
 - [8. Легенды и действительность](#)
 - [9. На новой службе](#)
-

1. Хрущёв, Ерёменко, Аджубей и другие

Итак, я – собственный корреспондент ТАСС и остаюсь в родном городе корреспондентом на Сталинградской ГЭС. Переезд в Иркутск сорвался. Там начал работать местный журналист, некто Гайдай, младший брат кинорежиссёра.

Довольные родители, оценивая ситуацию, говорят: "Если уж повезёт, то на рысях!" Довольны и мы с женой Юлей. Ей не нужно менять работу, мне – покидать родные места.

А через несколько месяцев моё служебное положение укрепляется ещё больше. Второй собкор ТАСС в Сталинграде увольняется, и меня назначают единственным по городу и области, оставляя за мной и освещение строительства Сталинградской ГЭС.

Что сохранилось в памяти за четыре года на этой работе в родном крае? Рождение сына, получение первой в моей жизни квартиры, охота на сайгаков в калмыцких степях, возвращение брата Виктора с семьёй из Воркуты и устройство его, не без моей помощи, на строительство Сталинградской ГЭС...

Наша квартира – в центре города, на площади Обороны, рядом с Домом Павлова, на бывшей площади Девятого Января, теперь площадь В.И. Ленина. (А дальше?) Квартира двухкомнатная, на втором этаже. Рядом родная Волга...

Те дни пестрят бесконечными делегациями в город-герой, и я в кортеже сопровождающих машин на своей, тассовской. Носимся по городу: Волго-Дон, Мамаев Курган, ГЭС, Тракторный... И обязательно в наш жилой район, к развалинам Мельницы, Дому Павлова. Во дворе

нашего дома среди мелкой детворы высматриваю у песочницы своего сына Володю. Он только научился ходить и бежит ко мне, падая, а я, гордый, подхватываю его и на виду у всех поднимаю над собой... Ну, разве ж такое можно забыть!

С приходом Хрущёва жизнь в стране так завертелась, что нам, журналистам, необходимо было переходить на космические скорости.

Особенно тассовцам. Все международные делегации, какие посещали страну, обязательно едут в Сталинград. Президенты, главы государств, премьеры, короли, императоры, шахи, принцы, парламентарии, политики, деятели культуры и прочие...

Все считали своим долгом побывать в героическом городе. Ведь совсем рядом ещё Вторая Мировая война, и память, что здесь произошёл её перелом, влекла людей со всех концов света. К тому же в Сталинграде два гигантских сооружения – Волго-Дон и ГЭС.

Вот имена и названия делегаций, которые в те годы посещали наш город: Кастро, Тито, Сукарно, Неру, Шах Иншах, принц Нородом Сианук, император Эфиопии Хайле Селассие; все генсеки из стран народной демократии, парламентские делегации государств мира и так далее.

Ярче других запомнились посещения Сталинграда: Тито, Шах Иншаха, Неру и, как ни странно, делегации национального собрания Албании, кажется, с Махмедом Шеху...

Албанцы – самая весёлая и сердечная делегация. Многие говорили по-русски. Учились у нас. Большинство горцы, партизаны, рубахи-парни. Обычно "сближения" происходили во время прогулок на пароходе по Волге. Маршрут долгий: из центра до Волго-Дона, а затем вдоль всего города до Сталинградской ГЭС. Это с остановками часа три-четыре. Стол накрыт, напитки

всякие. И тут идёт закрут... До объятий, поцелуев и клятв в дружбе нерушимой.

Хочу вспомнить хотя бы приезд Тито. Это было замирение с Югославией. Оно происходило, видимо, после XX съезда партии.

Помню лето, но ещё не было нашей сталинградской жары.

Утром на вокзал, оцеплённый милицией и КГБ, прибыл спецпоезд. Делегацию Югославии привёз сам Хрущёв.

Тогда я увидел его впервые. Вышли вместе с Тито. Никита, видно, с крепкого похмелья, но бодрый, даже взвинченно бодрый, наверно, завтракал с доброй "рюмкой чая".

Тито молчалив. На приветствия сталинградцев улыбается как-то натужно и скованно. Рядом высокая с увядающей красотой черноволосая супруга Бианка. Лицо живое, подвижное, оттеняет застывшую маску мужа.

Тут же, на привокзальной площади, начинается митинг. Милиция еле сдерживает народ.

Никита Сергеевич начал речь по бумажке. Идёт всё гладко. Я с прибывшим из Москвы тассовцем Мишей Герасимовым строчу в блокнот. Это так, для контроля, когда будем делать речь по радиозаписи. Речи глав только за нами, тассовцами. Все собкоры центральных газет руки в боки сачкуют, слушают, обмениваются репликами, а мы, "негры", пашем...

Но вот Никита сворачивает листки и начинает свой знаменитый экспромт.

За три года газетной службы и столько же работы в ТАСС я "наострился" записывать "личной стенографией" любые диалоги и речи без пробелов.

Стою перед Хрущёвым в группе коллег и строчу. Никита Сергеевич всё больше распаляется. Еле успеваю. Чувствую, речь сумбурная. Хвалит Тито, ругает

Сталина, обрывает фразы, не договаривает, аж слюна летит...

Бросил тему вечной дружбы с Югославией и понёс западных журналистов, кои сопровождают его и Тито и "пишут гадости о визите". Раскраснелся, кричит:

— К чёртовой матери этих писак!

И тут же даёт команду:

— Отцепить вагон со всей журналистской братией от поезда. Пусть добираются, как хотят!

Гнев Генсека и Председателя Совмина тут же реализуется. Всех журналистов стражи порядка стали оттирать от первых лиц. Даже нас, тассовцев, без которых стопорилась вся официальная информация. Мы кинулись в пресс-группу при Генсеке. В неё входили: Сатюков ("Правда"), Аджубей ("Известия"), Харламов ("Радио и ТВ") и, кажется, Поляков ("Сельская газета"). Доступнее других – Аджубей. Он же мог решать больше других, хотя руководитель пресс-группы, скучный и нудный, как божье наказание – Сатюков.

К тому же мы застряли с передачей в Москву речи Хрущёва. Передали то, что он говорил по бумаге, а экспромт Никиты "ни в какие ворота"... Аджубей приказал: "Делайте рыбу и приходите в вагон пресс-группы". А сам укатил с Хрущёвым и Тито на Мамаев курган. Я кинулся за ними, а Миша Герасимов остался "добивать речь".

На Мамаевом ещё большее столпотворение, чем на привокзальной площади. Все кордоны смяты. Я рвусь со своим красным тассовским удостоверением через толпу. Благо местные комитетчики меня знают, шепчут что-то московским, и те дают дорогу.

Пробиваясь, вижу "затёртую" в толпе супругу Тито. Бианка растерянно озирается, молит о помощи. Кричу комитетчикам, указываю глазами: "Выручайте!" И сам рвусь к ней. "Ведь затопчут! И международный скандал..."

Наконец, вняли моим крикам. Комитетчики устроили коридор в толпе. Через него мы с Бианкой настигли первых лиц уже на вершине кургана.

Ловлю реплики Хрущёва, Тито и прячу их в блокнот. Это для репортажа!

После Мамаева кургана, кажется, едем на Тракторный завод, где Хрущёв дарит Тито МТС – машино-тракторную станцию (70–80 тракторов и сельхозинвентарь). Акт "дарения" на митинге. Тито растроган, горячо благодарит и тоже говорит уже о "вечной дружбе".

Отсюда делегация – на обед, а я с готовым репортажем (пишу в машине) — в редакцию, где Миша Герасимов всё ещё корпит над "речью". Помогаю ему "сбивать" текст, а он разваливается...

Кое-как домучили. Надо визировать речь в прессгруппе. Летим на вокзал, к спецвагону, а там лишь Харламов: "Ищите Аджубея или Сатюкова! Я визировать не могу!"

Их нет. Они с Хрущёвым и Тито. Нас туда не пускают. Объясняем охране, просим, умоляем:

— Все газеты страны ждут наш материал! Доложите Аджубею, Сатюкову... Они знают, что это такое.

— Не велено тревожить, — в ответ. — Идут переговоры...

Матюкаемся и летим вновь в редакцию. Благо это рядом. Передаём "Речь" в ТАСС без визы. Заканчиваю диктовать стенографисткам, и меня переключают на "Дымгора", нашего генерального – Дмитрия Горюнова.

— Почему без визы? Почему так задержали?

Разнос страшный. Миша шепчет: "Меня нет. Я с делегацией". Отбиваюсь сам, обещаю "всё сделать". И тут же мы вновь летим на вокзал, к спецвагону пресс-группы...

О, удача! Вся армада делегации скоро двинет на речной вокзал, где, сверкая новизной, стоит волжский

лайнер "Максим Горький" (вчера прибыл из Москвы), а Алексей Аджубей заскочил в "вагон" и ищет нас, тассовцев. Он уже переговорил со своей редакцией. В "Известиях" тоже ждут полного текста "Речи". В таком же положении "Правда" и другие центральные газеты, не говоря уже о всех областных и республиканских.

— Чего тянете! Где речь? — поглядев на меня, как на пустое место, выговаривает Герасимову.

Но крик не злобный, строгость начальственная, "для порядка". Миша, худой, высокий, почти на голову выше здоровяка Аджубея, изображает покорность и понимание.

— Алексей Иванович, всё готово, только подписать. Познакомьтесь, наш собкор по Сталинграду. Сам сталинградец...

Аджубей кивает. На лице полуулыбка спешащего человека. Перебирая листы машинописного текста, какие вручил ему Миша, тоскливо тянет:

— Да тут... Нет, это надо посмотреть... Вот что, мужики, — улыбнувшись, переводит взгляд с Миши на меня, — сообщайте в свою контору, что в "Речи" будет ещё четыре-пять восковок. Пусть газеты планируют место. Мы это с парохода дошлём.

И, щёлкнув застёжкой элегантно заморской папки, где исчезла "Речь", идёт в глубь вагона, к столику связи. Миша хитро подмигивает мне, и мы идём за Аджубеем.

Продолжаю рассматривать этого всесильного журналиста, перед которым заискивает даже редактор "Правды".

Года три назад я видел его мельком в редакции "Комсомолки". Кажется, он был уже замом главного.

Все шептались: "Зять Никиты Сергеевича... Далёко пойдёт..."

И Алексей Иванович с тех пор шагнул действительно далёко. У него лучшая в стране газета.

Он – член ЦК, ему прочат пост министра. Но надо отдать должное, он и сам человек незаурядный. И журналист не последний, и энергия бьёт ключом. В этом убеждается каждый, кто общается с ним. А те, кто работает рядом, известинцы, души в нём не чают.

Просим Аджубея воспользоваться его связью с Москвой. Он согласно кивает, и тогда Миша:

— Алексей Иванович, а может, вы сами нашему Горюнову по ВЧ...

Аджубей с добродушным удивлением разводит руками.

— Ну, вы, хлопцы, как тот цыган: "Тётенька, дайте водицы, а то так есть хочется, аж шкура трещит." Ладно, идите. Позвоню вашему Дымгору... Вам ещё на пароход надо прорваться.

— С вашей помощью, Алексей Иванович, — вставляет Миша.

— Нет! Это уж вы сами. Есть строгое указание: ни одного газетчика на борт...

— Мы – тассовцы, — наконец решаюсь я сказать хоть что-то. — Без нас нельзя.

— Ну, глядите, та-а-с-с-о-о-в-цы... — тянет весело Аджубей.

У него хорошее послеобеденное настроение. Настроение здорового, преуспевающего человека, который знает себе цену, а после выпитых рюмок доброго коньяка, запах которого гуляет по вагону, есть желание быть ещё и покровительственно-добрым и великодушным.

Кажется, Аджубей купается в этом "самокомфорте" и ценит его, потому и позволяет нам пользоваться его "добротой".

Мы исчезаем. Нам ещё нужно заскочить в редакцию, а оттуда – на речной вокзал. Машина у нас с красным правительственным пропуском, и нам везде – "зелёная улица".

На пристани, где сверкает белизной трёхпалубный лайнер, от комитетчиков узнаём, что всех журналистов препровождают на отдельный парходик ("трамвайчик"), а на правительственный никого "не пускают". Запрет идёт от "Самого".

Вся журналистская братия (и иностранная, и наша) бредёт к "трамвайчику", который причалил рядом.

Мы, тассовцы, и собкоры "Известий" и "Правды" выжидаем. У нас план действий, подсказанный знакомым комитетчиком, но, видимо, не без инициативы Аджубея и Сатюкова. Как только убирается трап, мы перемахиваем через перила борта пархода и тут же попадаем в руки комитетчиков из охраны.

Каждый выбрал удобную позицию у борта. Трап убран, и мы один за другим прыгаем.

Спустя несколько минут все - в салоне охраны. Здесь накрыт стол. Бутерброды, фрукты, напитки. Собкор "Правды" по Сталинграду Костя Погодин требует "за пережитый страх" коньяку.

Появляется и коньяк. Блаженство.

В салоне прохладно, работают вентиляторы. Налеем на закуски. Соки, боржоми запотевшие. Спешить некуда. Прогулка от центра и до южной окраины города, где начинается Волго-Дон, не меньше часа. Делегация после роскошного обеда в резиденции разбрелась по каютам, отдыхает. Мы "под арестом" у охраны. Всё как в лучших домах...

Маршрутом лайнера мы, местные собкоры, проследовали не раз со многими делегациями, и у нас нет желания выходить на палубу. Правдист и известинец из Москвы "двинули на воздух".

Через четверть часа за ними последовал и Миша Герасимов, а мы, сталинградцы, сидим за столиком, потягивая холодный боржоми, смакуем армянский коньячок.

Я вышел из салона охранников, когда уже повернули от первого шлюза обратно и шлёпали вверх по Волге к Сталинградской ГЭС.

Позвал Костя Погодин:

— Володя, пойдём! — громко, скорее для офицеров охраны, сказал он. — Там уже твой дядя, маршал Ерёменко про Сталинградскую битву Тито докладывает...

На открытой палубе десятка два плетёных кресел. В них - Тито, его супруга, члены делегации. Перед ними у огромной карты, разрисованной красными и синими стрелами с коротенькой указкой, Андрей Иванович Ерёменко, бывший командующий Сталинградским фронтом, а ныне командующий Северо-Кавказским военным округом.

Андрею Ивановичу недавно присвоено звание маршала, и он парится в новеньком, с иголки мундире с большой шитой золотом звездой на каждом погоне. На мундире - Звезда героя и цветная мозаика символов бесчисленных военных орденов и медалей.

Пот струится из-под фуражки. Ерёменко вытирает его скомканным в левой руке платком, но головного убора не снимает, даже не расстёгивает стоячего ворота маршальского мундира. Бусинки пота катятся по иссохшей шее.

Андрею Ивановичу - за шестьдесят. Отцу моему - пятьдесят девять. Оба прошли все три войны от звонка до звонка, но судьбы разные... Мои размышления прерывает капитан в штатском из местного управления КГБ Алексей, с которым я знаком по многим встречам иностранных делегаций.

— А, что, действительно он твой дядя? — шепчет на ухо Алексей.

Я тяну с ответом, делая вид, что поглощён рассказом о Сталинградской битве. Нетерпеливый Алексей дружески берёт меня под локоть. Мы с ним,

видимо, ровесники и могли бы быть друзьями, если бы не его служба.

— Ты - племянник Андрея Ивановича? И молчишь! Ну, знаешь...

— Я-то знаю, — напуская тумана, тихо шепчу Алексею, — а вот Андрей Иванович - вряд ли!

Тот с растерянным недоумением смотрит на меня, но, видимо, раньше всех заслышав суету своих коллег за нашими спинами, нервно вздрагивает и тут же исчезает. Я смотрю ему вслед и вижу, как веером рассыпаются по палубе молодцы в штатском, занимая каждый "своё место".

Значит сейчас появится Сам. Все настороженно замирают, и лишь Андрей Иванович, да Тито и его окружение не замечают прокатившегося шороха.

Андрей Иванович говорит, какие силы были брошены немцами для разблокирования армии Паулюса... И тычет указкой в карту.

На палубе в окружении своей свиты появляется Никита Сергеевич. Он без пиджака, в белой рубахе, без галстука и в светлых широких брюках. На ногах мягкие мокасины. Лицо помятое со сна.

Останавливается в нескольких шагах за спинами сидящих в креслах слушателей, молча озирая собравшихся.

Ерёменко закрыт от него картой, продолжает рассказ.

Наконец Никита Сергеевич, качнувшись на коротких ногах, нетвёрдо обходит сидевших слушателей и плюхается в расторопно подставленное здоровенным детиной кресло.

— Мы воевали! — прерывает он маршала. И, повернувшись к Броз Тито, добавляет: - Этих военных хлебом не корми, только дай повспоминать, какие они стратеги... А немцев вот сюда допустили. — Он повёл рукою перед собою. — Аж до Волги-матушки... Так что

хвалиться вам, военным, особенно нечего... Штаб фронта был за Волгой... И мы с Вами, Андрей Иванович, сидели вон там. — Хрущёв указал перед собой на полосу тёмного заволжского леса. — Вон там... в Ямах. — И опять, качнувшись в кресле в сторону Тито, поясняет: — Так заволжское село называлось...

От этой неожиданной для всех тирады Никита Сергеевич раскраснелся и замолк, переводя дух.

Неловкая тишина. Маршал ещё больше вспотел, но стоит не шелохнувшись, опустив вниз руки с указкой и скомканным платком.

Никита Сергеевич достал свой платок, оттирает красное лицо и лысину. Ему подали шляпу из светлой соломки. Но он в сердцах отстранил руку телохранителя. Тяжёлая пауза затянулась, и тогда Тито, развернув своё кресло к Хрущеву, сказал:

— Сталинград был спасением всему миру. Мы в Югославии это поняли. Немцы уже были другие...

— Конечно. Конечно, — подхватил Хрущёв. — Здесь сломалась гитлеровская военная машина. И как они её не чинили потом, она всё время давала сбои...

— А войны ещё было много, — продолжал Тито. — Сильно много. Мы в Югославии взобрались только на её вершину...

Андрей Иванович переводил растерянный взгляд с Хрущёва на Тито и вновь на Хрущева, явно не понимая, что же ему предпринять, но продолжал стоять навтыжку, с прижатыми к грузному телу руками.

Наконец Хрущёв переключил внимание на застывшего у карты маршала.

— Продолжай, Андрей Иванович. Продолжай, — кивнул Хрущёв. — Только ты учти, югославские товарищи тоже много знают... Они изучали эту битву. Правда?

— Да, да, — за всех ответил Тито. — Но мы с удовольствием и интересом слушаем маршала.

Однако даже эта подслащенная пилюля не вернула равновесия Ерёменко. Рассказ его поблёк, а скоро и вовсе угас, прерываемый репликами Хрущёва.

Реплики переходили в воспоминания члена военного совета Сталинградского фронта, и рассказ бывшего командующего окончательно застопорился.

С поникшей головой новоиспечённый маршал отошёл от карты в тень под тент, и было жалко и больно смотреть на потерянное лицо старого воина.

Разрешение этого скандального эпизода произошло только вечером, на приёме в честь югославской делегации. После первого тоста в честь главы делегации гостей маршала Тито Хрущёв сразу провозгласил здравицу другому маршалу "выдающемуся военачальнику, Герою Советского Союза" и прочее Андрею Ивановичу.

Генсек не жалел красок и превосходных степеней, восхваляя его воинские заслуги. Не забыл Хрущёв и мирные усилия маршала в строительстве вооружённых сил.

Под градом похвал, прерываемых аплодисментами, Андрей Иванович сгибал натруженную старческую спину в поклонах. Те, кто были свидетелями сцены на палубе парохода, затаённо улыбались и хлопали, не жалея ладоней. Сцена столь же запоминающаяся, как и на лайнере всего несколькими часами ранее.

Нас, группу центральных журналистов, посадили у самого краешка гигантского "П"-образного стола, ближе к выходу из зала, и отсюда мы наблюдали сие действо.

На запруженном яствами столе главенствовали свежайшие волжские осетровые рыбы и чёрная икра. А среди напитков - отборные армянские коньяки и грузинские вина.

Часто бывая на столь высоких приёмах, я наблюдал одну неизменную закономерность. Коньяки и вина самых высоких отечественных марок всегда

располагались на перекладине буквы "П". По мере удаления от неё марки напитков истощались, и там, где отводились места для прессы и руководства охраны, медиков и другой obsługi делегаций, ставились ординарные коньяки, вина и обычная водка.

Та же последовательность и в сервировке стола с закусками. Они размещались с убыванием к периферии стола. У нас была даже такая шутка: "Мы – журналисты, и наше место за столом, где напитки светлые, а закуски редкие".

Правда, горячее всем разносили одинаковое, хотя мне и не доводилось видеть, что несли официанты на тарелках первым лицам.

Неизменным в этих застольях было и такое. Когда первые лица и их сопровождение покидали зал, "периферия" стола перебиралась ближе к дорогим коньякам и изысканным закускам...

Но в тот вечер на банкете тассовцам было не до коньяков и закусок. Нас интересовал только Аджубей.

После тоста Хрущёва Миша Герасимов поднялся и пошёл к пресс-группе, которая сидела ближе к столу "президиума".

Изогнув свою высокую тощую фигуру, он пошептался с Сатюковым, потом с Аджубеем и оставил им листы с речами, какие Хрущёв и Тито произнесли на митинге перед работниками Сталинградской ГЭС.

С облегчением вздохнув, я налил по рюмке трёхзвездочного коньяка, но Миша придержал мою руку:

— Погоди. Аджубей идёт...

И стал поправлять пустующий рядом с нами стул. Аджубей присел. Положил на стол уже испачканные первые страницы речей.

— Мужики! Вы накатали слишком много. Оставить треть. И всё давать в изложении. В газетах уже стоят речи Никиты Сергеевича и Тито на вокзале. А эти в

изложении. Я начал, — потрянул исчерканными листами. — И не тяните. — Глянув на диковинные часы на холёной руке, Аджубей строго добавил: — Времени нет. В темпе, мужики...

Резко поднялся и враскачку поплыл к вершине "П"-образного стола. Немногочисленные в застолье парт- и совдамы провожали его умилёнными взглядами. Молодой, высокий, пышущий здоровьем атлет, которому, казалось, и за тридцать не перевалило, излучал не только физическую силу, но завораживающую силу власти. Он зять могущественного человека, развенчавшего Сталина, вздыбившего страну, человека, который грозит могущественной Америке и собирается похоронить капитализм, а советским людям через два десятилетия обещает вожделенный коммунизм... Этот человек здесь, рядом. Его грузное шарообразное тело нависло над столом, лоснящаяся лысина играет бликами хрустальной люстры. Он произносит здравицу "героическим сталинградцам".

Когда говорит этот всесильный муж, немногие из его окружения могут позволить себе вот так вальяжно и независимо следовать через весь зал.

Аджубей же спокойно, не убыстрив шага, дошёл до своего места и, опустившись на стул, тут же что-то стал шептать на ухо Сатюкову. Тот сидел, словно аршин проглотив, весь внимание, повернувшись к Хрущёву. Я чуть не прыснул от смеха, наблюдая, в каком тяжелом положении главный редактор "Правды". Демонстрируя верноподданническое внимание Генсеку, он не может отмахнуться и от нашёптывающего Аджубея. Вот уж воистину: "Сижу в президиуме, а счастья нет".

Алексея Аджубея мне доводилось встречать не раз и позже, вплоть до снятия Хрущёва в октябре 1964 года. До этого, естественно, дела у него шли блестяще. Он превратил самые скучные губинские (редактор до

Аджубея) "Известия" в лучшую газету страны. У "Известий" появился вечерний выпуск, планировались издания приложений и прочее.

За "Известиями" потянулись и другие издания. Даже ортодоксальная "Правда" стала менять свой "унылый облик". Преобразилась "Литературка". Её редактор А.Б. Чаковский - в ближайших друзьях Аджубея. Но Аджубей ещё и друг Твардовского. Именно он устраивает встречу великого поэта с Хрущёвым в Крыму, где читается "Тёркин на том Свете", и после этого Плучек в Театре сатиры ставит спектакль по этой "скандальной" поэме.

Мне довелось видеть эту постановку Плучека. Однако поэма оказалась намного сильнее спектакля. (Инсценировку, кажется, сделал сам режиссёр.)

Не знаю, какое участие Аджубей принял в судьбе публикации повести Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Но именно он свёл Твардовского с помощником Хрущёва Лебедевым. Лебедеву так понравилась повесть бывшего зека, что у них с Твардовским созрел план - прочесть её Хрущёву.

Тот отдыхал в это время на черноморском побережье, и Лебедев полетел к своему шефу... "Новому миру" была разрешена её публикация, и Солженицын в одночасье стал знаменитостью.

Так что польза и прогресс в культурной жизни страны от пребывания Аджубея в эшелонах власти несомненны. Талантливый организатор и неплохой журналист, он расшевелил наши заскорузлые средства массовой информации, дал толчок если не к свободе, то хотя бы к добрым переменам.

Судьба же самого Алексея Ивановича была трагичной. Вслед за Хрущёвым сразу сняли и Аджубея. Сначала сослали его в какой-то журналчик, кажется в "Журналист", заведующим отделом очерка. А потом выжили и оттуда.

Без работы и друзей он горько запил...

Был период, когда брежневские власти выселяли его из Москвы. Идиоты! Куда же его от семьи, где трое или четверо детей. Его жена Рада, отличная журналистка, бессменный заместитель редактора лучшего в то время в стране журнала "Наука и жизнь", и при Хрущёве-отце вела себя исключительно скромно и достойно. Она отбила атаку выселения мужа, пробившись на приём к брежневским помощникам.

А Алексей Иванович продолжал пить по-чёрному. Изредка появлялись его статьи в печати, но только под псевдонимами. Друзья-газетчики давали ему скудный заработок, но он и его пропивал.

Последний раз я встречал Аджубея в Доме отдыха "Правды", в Пицунде. Кажется, это было в 1983-м или 1984 году. Наш писательский Дом творчества рядом с "Правдинским".

бЯ зашёл в номер моего соседа поэта Михаила Львова. Сидим, беседуем, ждём открытия буфета после вчерашних посиделок. В номер врывается высокий костлявый старик, с обвисшими, как у бульдога, складками на лице. Глаза воспалены, руки дрожат.

— Миша, милый, спасай. Трубы горят. Дай заглотнуть чего-нибудь...

— Да что ты, Алёша, — всполошился деликатный Михаил Давыдович. — Ты же знаешь, я ничего здесь не держу. Анжела!.. (жена). А буфет только с двенадцати... Мы тоже ждём.

Я уже догадался, что это Аджубей, и был так поражён его видом, что не мог сообразить, как себя вести. "Побежать в свой номер? Но вчера сидели до трёх и, кажется, всё прикончили..." "Попросить? Но у кого?"

— А у вас? — повернул жалкое лицо в мою сторону Аджубей.

Я поднялся и глупо развёл руками.

— Ай, писатели, инженеры... Мать вашу...

Словно от напасти отмахнулся он и скрылся за дверью ванной. Зашумела вода в раковине. Стук зубной щётки о стакан.

Я испуганно глянул на Львова.

— Он что?

Тот грустно пожал плечами и отвернулся к окну.

Через минуту из ванной вышел Аджубей. Вытирая рукавом белые разводы вокруг рта от прохрипел:

— Ну, я пошёл, Мишенька...

— Он что, пасту?

— Да, — горестно кивнул Львов. — Надо, чтобы жена ничего не заметила.

Вот такая грустная встреча...

Но доскажу те сталинградские события, потому что история с моим "дядей" имела своё продолжение.

Уже вечером, после возвращения правительственного лайнера с прогулки по Волге, мы узнали, что катер-трамвайчик с журналистами сразу, как только отошёл от пристани, безнадёжно обездвигился из-за "поломок в моторе". Судно кое-как отдрейфовало к левому песчаному берегу, и там, на отмели, оно простояло все те часы, которые мы плавали по Волге.

Взмыленным механикам удалось "запустить" мотор только тогда, когда правительственный пароход вернулся с ГЭС. Многие журналисты были довольны вынужденным отдыхом. На катере роскошный стол, на берегу отличное купание. Лишь западные журналисты выражали отчаянные протесты. Особенно бунтовала корреспондентка какой-то американской газеты. Она лихо пила водку, ела московскую копчёную колбасу и неистово материлась...

Рассказывали, когда катер причалил, она в знак протеста отказалась покинуть буфет, и дюжие молодцы выводили её под руки.

Ситуация с "застрявшим" катером убедила нас, что угроза Хрущёва не брать в поездку журналистов – в силе. Вагон прессы отцепили от правительственного поезда, и его обещают отправить с каким-то другим, идущим на Ростов. А именно туда завтра отправлялась делегация. Успеть к встрече высоких гостей – гарантий никаких.

Выход один – лететь самолётом. Но прямых рейсов Сталинград – Ростов нет, а на проходящие самолёты попасть проблематично. И тогда собкор "Красной Звезды" по Северо-Кавказскому округу, мой давний друг Николай Мельников предложил обратиться к маршалу Ерёменко. С Николаем мы дружили уже лет пять, ещё с Волго-Дона, где он бывал подолгу как спецкор своей газеты.

Разыскали Андрея Ивановича в штабе Сталинградского гарнизона. Коля прячется за нашими спинами. Оказывается, у него "неважные отношения" с командующим – "увиливает от работы над воспоминаниями маршала" – его слова.

Начал правдист Костя Погодин. Все поддакивают. "Выручайте! "Мы хорошие!"

Андрей Иванович мнётся: "Надо ещё выяснить, есть ли на месте свободный борт".

Даёт поручение адъютанту. Канючим. "Нам посоветовали в пресс-группе обратиться лично к вам, товарищ маршал". Ссылаемся на Аджубея. Ерёменко оживляется. Но всё ещё, видно, побаивается высочайшего гнева. И тогда Костя Погодин выкладывает последний "аргумент".

— Товарищ маршал, ну, сделайте доброе дело хотя бы для вашего племянника Володи Ерёменко. — И, вытолкнув меня вперёд, шутливо добавляет: – И страна вас не забудет, а уж мы, газетчики...

— Это откуда ещё такой родственник? — с наигранной строгостью повернулся ко мне. — А ну-ка,

покажь паспорт.

Подыгрывая маршалу, я протянул своё тассовское удостоверение.

— Ты гляди, тоже Ерёменко. А откуда родом? Местный, сталинградец, говоришь. Интересно. А батька и мать с Украины?

— Из Запорожья.

— Казаки? А я - русак, — возвращает мне удостоверение маршал. — Родом из России.

— Так у меня бабушка по отцу курская! — выкрикиваю я под хохот коллег.

— Нет. Не стыкуется, — весело качает головой маршал. — Родственные узы не связываются...

Настроение у всех весёлое. Адъютант что-то шепчет на ухо командующему. И тот отдаёт команду отправить всю нашу журналистскую братию военным самолётом в Ростов.

К сожалению, и рассказ об Андрее Ивановиче, как и об Алексее Ивановиче Аджубее, вынужден закончить печально...

Маршал умер в 1970 году на семьдесят восьмом году жизни, официально продолжая службу, но уже в так называемой "райской группе" высших военачальников Министерства обороны.

Как рассказывал мне Симонов, он умер нелепо. В 1971 или 1972 году мне довелось почти месяц лежать с Константином Михайловичем в клинике на Мичуринском проспекте. Мы оба были "ходячие", и по два-три раза в день выходили на прогулки.

К нашим беседам иногда присоединялся Василий Иванович Чуйков - "третий" сталинградец, который также был здесь на излечении. Естественно, много вспоминали и говорили о боях в Сталинграде. Об этом я расскажу в главе о Симонове. Но тогда же зашёл разговор и о моём однофамильце.

"С Андреем Ивановичем я знаком с войны, — сказал Симонов. — Встречались в Сталинграде. И вот тогда я узнал о его тайной страсти - стихах. Тетради со стихами Андрей Иванович присылал мне и после войны. Обычные графоманские вирши, какие пишут многие. Но не все их обнаружат, а маршал стремился".

Я вспомнил жалобы Коли Мельникова, как Ерёменко досаждал ему этими "стихами о войне, которые писал всю жизнь."

А умер Андрей Иванович действительно нелепо. Как и многие старики, маршал страдал жестокими запорами. Лекарства не помогали. И он спасался клизмами. Как-то дома, в ванне он сам проделывал эту процедуру. И вода разорвала ему внутренности.

Судьба-злодейка посмеялась над маршалом, прошедшим все войны.

2. Фидель Кастро, шахиня Сория и "примкнувшие" к ним

Это было зимой. Знаменитая тёмная борода Фиделя Кастро сливалась с чёрной норковой шапкой, которыми были тогда увенчаны головы высоких партийных и советских чиновников. Но и в этом непривычном головном уборе Кастро оставался самим собой. Никому из зарубежных гостей, каких мне доводилось сопровождать, не оказывали столь горячего и искреннего приёма.

Народное признание выражалось в такой популярной в то время частушке:

По-кубински он Хвидель,
А по-русски Федя.
Весь он чёрный, как кобель,
К нам в Воронеж едя.

Люди слушали и смотрели на Фиделя как на самую большую знаменитость, прощая его слабость говорить многочасовые речи. В сибирских городах, где морозы за тридцать, никто не покидал митингов. Но было и другое. Помню, в Киеве после посещения театра местные власти решили осчастливить высокого гостя обществом "гарной дивчины", роль которой исполняла актриса, естественно, проверенная и проинструктированная высшими инстанциями.

Ответственным за эту акцию был секретарь ЦК КПУ по идеологии (кажется, Маланчук).

На утро в вестибюле резиденции, где поселили Кастро, я слышал такую реплику раздосадованного секретаря КПУ:

— Ай, не в коня корм!

И этот прискорбный случай был, пожалуй, единственным, который выбивался из образа героического Кастро. Никто не мог понять, почему национальный герой свободолюбивой Кубы, штурмовавший крепость Монкадо, "спасовал перед украинской дивчиной?"

Меня поразило это особенно. Здоровенный мужик при таком харче и постоянной выпивке и... Ведь Фидель мой ровесник. Ему едва перевалило за тридцать. Благословенный возраст!

— Если такие конфузы оттого, что он Вождь и Герой, то лучше быть простым смертным, — злословили журналисты, сопровождавшие делегацию.

С тех пор минуло почти полвека. Смотрю на последние кадры съёмок кубинского вождя по ТВ. На острове Свободы теперь разрешено празднование Рождества. Кубинцы готовятся к встрече Папы Римского.

Невероятно! Да и Фидель уже не тот. Вылиняла смоль его бороды, поблёк некогда огненный взгляд, захрип громовой кастровский голос...

Таковыми же стариками стали все мы, кого тогда разрывала молодость. А иных уже нет, сошли под сени... Грустно конечно, но никакой трагедии... *C'est la vie!* Так и должно быть... Трагедия у тех, у кого нет детей и кто не слышит оправдывающих старость звонких голосов внуков.

Вожди и Герои часто лишены этих радостей, и им труднее.

Очень ярко высвечивается встреча с шахом Ирана Реза Пехлеви и шахиней Сорией в Сталинграде.

После запальной гонки с передачей отчётов и репортажей в Москву о прибытии делегации и её встрече в городе так приятно расслабиться и отдохнуть

несколько часов в сверкающих чистотой салонах волжского лайнера за бокалом доброго вина.

Дружеское общение налаживается моментально. Замкнутое пространство палуб, лёгкий хмель в голове и профессиональное любопытство журналиста, и ты уже в дружбе с человеком, которого увидел всего час назад.

Такое произошло у меня с молодым генералом из свиты шаха, который свободно говорил по-русски, так как учился в нашей военной академии. Выяснилось, что многие высшие офицеры в армии шаха получили военное образование в нашей стране.

— Это давняя традиция, — говорил молодой генерал, — учиться военному делу в России. Особую цену в нашей армии имеют офицеры, окончившие академию Генерального Штаба в Москве. Я тоже её выпускник...

Мы сидим на открытой палубе под тентом за столиком, на котором фрукты, напитки и лёгкие закуски. Предупредительный официант белой тенью скользит меж столиков, поправляя сервировку. Чтобы раззадорить генерала, задаю дурацкий вопрос:

— А отчего это вся свита при появлении шаха опускает глаза? Даже вы, военные...

— Нельзя, — улыбается мой собеседник. — На солнце смотреть нельзя. Шах — это солнце...

Наш пароход уже отвернул от первого шлюза Волго-Дона и идёт вверх по Волге.

Только что случилось ЧП, переполошившее всех гостей. Даже на нашу верхнюю палубу вышел шах Реза Пехлеви, очень стройный, по-военному подтянутый. За ним суетно семенит заскорузлый, тёмный, как огарок, Анастас Микоян — в то время председатель Президиума Верховного Совета, сопровождавший шаха.

Оказывается, порыв ветра сорвал с головы белолицей красавицы шахини Сории роскошную шляпу. Шляпа упала на лёгкую зыбь вспененной реки, и её

понесло течением. Пароход тут же начал разворачиваться, но взбудораженные мощными винтами волны захлестнули головной убор шахини, и он пошёл ко дну.

Всё произошло так быстро, что на судне не нашлось смельчаков, которые бросились бы за борт и спасли шляпу её высочества. По палубам прошёл ропот: "В шляпе шахини дорогая заколка с бриллиантом! Сория очень расстроилась и тут же ушла в свою каюту!"

— Чепуха! — сказал мой собеседник-генерал. — Расстроилась шахиня не из-за какой-то заколки или броши. У неё этого добра горы. Опечалилась Сория из-за дурной приметы. Потеряв шляпу, береги голову!

И генерал, склонившись ко мне, поведал "тайну двора шаха".

Подданные его высочества в смятении. Зреет заговор. Шахиня в большой опасности. Мохаммеду Реза Пехлеви* уже тридцать семь, а у него до сих пор нет наследника. И виновата Сория. Народ ропщет... А тут этот случай со шляпой. Поневоле загрустишь.

Генерал отшатнулся от меня и, скрестив руки на груди, умолк.

— А может, не в Сории причина? — Теперь уже я склонился к его креслу.

— Нет... — отрицательно покачал он головой. — Проверено. И не раз. Сория...

— Проверяли в гареме?

— И на гареме тоже, — улыбнулся генерал. — У Мохаммеда всё о'кей! Шахиня виновата... Народ не доволен. Может всё плохо кончиться. А если с Сорией что случится - и до войны не далеко. Она - дочь влиятельнейшего в Иране человека. Богатейший клан...

Думаю, опасения иранского генерала оказались не напрасными. Вскоре мир узнал, а вслед за ним и мы в СССР, что шахиня тайно бежала из Ирана. Гражданской

войны, которой боялся мой собеседник-генерал, не случилось.

Позже дошли сведения, что экс-шахиня Сория снималась в фильмах в Европе. И, кажется, в Голливуде. Но для успеха её артистической карьеры одной красоты (а она была действительно ослепительно красива!) оказалось мало. Фильмы с её участием не имели успеха.

А что же шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, племянник старого шаха Реза Пехлеви? Как решилась проблема с наследником престола после бегства Сории? Не ведаю.

В 1978 году исламская революция в стране смела шахский трон. Самому шаху отрубили голову и тем самым разрешили проблему престолонаследия. Мохаммед Реза Пехлеви был последним монархом в более чем тысячелетней истории Ирана.

Я жил уже в Москве, когда пришло сообщение о низложении шаха Ирана. Вспомнилась та, двадцатилетней давности, встреча с его генералом и наша беседа на пароходе. Какой была судьба генерала? Судя по иронии, какая слышалась в его сравнении шаха с солнцем, он мог и участвовать в низложении государя. И мне вдруг стало жалко шаха. Не того верховного правителя страны, которого, как и нашего царя, называли кровавым, а человека, которого я видел и даже говорил с ним, когда брал у него интервью о его впечатлениях от пребывания в Сталинграде. Переводчиком был генерал. Что говорил шах? Вероятно, обычные слова о героизме защитников города и мужестве тех, кто его возрождает...

Но запомнилась не эта короткая беседа, а прогулка по Волге. По пути на ГЭС была остановка для купания. Изморённые жарой почти все пассажиры высыпали на пляж. Пароход не покинули только первые лица и их охрана.

Микоян снял пиджак и ботинки и сидел в кресле на верхней палубе. Потом он снял и носки, повесил их перед собой на перила ограждения...

Сцена поразительная. Сидит чёрный, обугленный, как головешка, старичок в белом плетёном кресле, он же "президент великой страны", как его величали иностранцы, и сушит на солнце носки.

Шах приблизился к трапу, но на берег не сошёл, а стоял и смотрел на купающихся подданных из своей свиты и на нас, грешных.

В светлом военном мундире, перехваченном в тонкой талии широким золотым ремнём, роста невысокого, почти вровень с шахиней Сорией. Она тоже ненадолго вышла полюбоваться купанием уже в другой шляпе. Шахиня скоро исчезла. А шах продолжал стоять, положив лёгкую левую руку на бортик ограждения. Прямой, стройный, с ладной, точёной выправкой, какая удаётся только молодым офицерам и почти никогда – генералам.

Лицо тонкое, почти европейское, нос с восточной смуглостью, глаза живые, острые. Я смотрел в них, когда сидел напротив во время беседы в резиденции, и не заметил в них ничего царского или "шахского". Взгляд обычного вежливого и учтивого человека, который ничем не подчёркивает своё величие.

Таким мне и запомнился этот человек, он же шах.

Несоответствие официального "образа" и "оригинала", как я уже говорил, открылось для меня давно. Ещё в беззаботные студенческие годы, в 1947 году, я был участником парада физкультурников в Москве. Так вот тогда дважды мне довелось видеть Сталина и его соратников.

Первый раз – на правительственной трибуне стадиона "Динамо" (трибуна и сейчас на том же месте), а мы, спортсмены, лицезрели вождей с гаревой дорожки, когда в парадном строю проходили мимо них.

А затем - с поля стадиона, когда выступали со спортивными номерами.

Через несколько дней увидел великого вождя и членов Политбюро уже в Георгиевском зале, в Кремле, на правительственном приёме в честь Дня физкультурника. Здесь я рассмотрел Сталина (ел глазами только его!) уже подробнее. И был в шоке. Я видел стареющего рыжеватого коротышку с нездоровым, побитым оспой лицом...

Впечатление настолько несуразно-страшное, что я десятилетие, вплоть до разоблачения культа личности Сталина, боялся кому-либо и заикнуться об этом. Через несколько лет, как великую тайну, рассказал брату Виктору. А для него мои "страхи" никакой тайной не были.

— А чего ты хотел? Он и есть коротышка! Рост всего полтора метра с кепкой. А вот что ботинки на высоком каблуке - не знал... А что рябой, так у него и кличка такая была... Рябой!

Как ушатом холодной воды окатил меня этими подробностями брат. А узнал он их за три года немецкого и девять лет нашего плена.

После этого разговора я перестал удивляться и к "зримому несоответствию" относился уже спокойно.

На размалёванные, дышащие здоровьем и молодостью портреты партийных вождей на центральных площадях в городах, где я жил, смотрел со спасительной долей скепсиса и иронии.

Когда менялся порядок в ранжире портретов вокруг Первого лица (Сталин, Хрущёв, Брежнев...) или какой исчезал, а на его месте появлялся новый портрет подкрашенного здоровяка, особых волнений не вызывало. Всё шло своим чередом...

Однако были и исключения в этой меняющейся череде. Где-то к концу правления Сталина, после XIX съезда партии, резко расширилось Политбюро

(кажется, тогда уже президиум ЦК!). В него вошли такие молодые функционеры, как Сабуров, Игнатов, Шепилов... В мелкорослом окружении Сталина появились обычные люди, на голову, а то и на две, как Шепилов, возвышающиеся над Первым лицом.

Шепилов руководил идеологией, и впоследствии, когда Хрущёв громил антипартийную группу Маленкова, Молотова, Кагановича, Булганина... длинный ряд "этих отщепенцев" замыкала фамилия молодого идеолога. В официальных документах по антипартийной группе это звучало так: "...и примкнувший к ним Шепилов". В народе это добавление окрестили как самую длинную фамилию в СССР.

Я встретил этого человека года через два-три после его снятия в санатории имени Ленина в Сочи. Работал он, кажется, тогда в Центральном архиве, но имел право отдыхать в санатории Управделами ЦК КПСС.

Мы стояли в очереди к санаторному парикмахеру, и я разглядел этого высокого и респектабельного человека. Рассматривая его вблизи, я подумал: "Такого красавца наверняка любят женщины". И тут же: "Как же крепко цепляется старое за новую жизнь. Низкорослый Сталин подбирал в своё окружение коротышек-подхалимов. А к концу жизни поумнел. Но тут опять незадача. Колобок Хрущёв разогнал от себя нормальных людей".

— Да и вины-то за Шепиловым никакой не было, — вспомнил я рассказ человека, хорошо знавшего "кремлёвскую кухню" (о нём речь пойдёт ниже), — только что умный, да не молчал, говорил правду. Прошёл войну, закончил генералом. Я его ещё по Академии наук знал. Он членкор. Когда его ещё при Сталине избрали в секретари ЦК, Хрущёв дружил с ним. Правду от умного всегда интересно услышать, пока он не начинает говорить о тебе. А Шепилов говорил Хрущёву: "У власти должны стоять образованные,

грамотные люди. Время самоучек ушло со Сталиным". Ну, как же всё это могло понравиться Никите с приходским образованием?"

Я продолжал рассматривать Дмитрия Шепилова. Он стоял на крылечке одноэтажного домика, во дворе санатория, где разместилась парикмахерская, а я отошёл и сел на скамейку в тенёчке.

Красивое, спокойное лицо, статная, богатырская фигура начинающего полнеть атлета. Сходство с теми портретами, которые ещё недавно красовались на площадях, во дворцах культуры, школах, красных уголках и прочее... было приблизительным. Невероятно! Но оригинал выглядел лучше, чем портрет. Ха! Да его подретушировали фотографы-художники, чтобы он не выделялся из общего ряда наших правителей. Усреднили...

Моя догадка не далека была от истины. Когда через несколько лет меня брали на работу в аппарат ЦК КПСС, то я впервые побывал в том самом фотоателье, где стряпались все эти портреты. Оно располагалось в торце ГУМа, выходящем на улицу Куйбышева. Перед дверью никакой вывески, только крохотная кнопка звонка, спрятанная от глаз прохожих. Огромные окна высоко покрашены белым.

С крохотной бумажкой, какую мне вручили в хозотделе Управления делами, разыскал эту дверь и нажал потаённую кнопку. Меня впустили в небольшой высокий зал. Глухая стена, отделяющая его от магазина, была увешана теми самыми портретами членов и кандидатов Политбюро и секретарей ЦК, которые в миллионных экземплярах растекались по стране.

Здесь висели цветные фотооригиналы, отретушированные художниками. А на необъятных просторах Родины были литографюры с них.

Меня усадили перед ящиком из красного дерева на высокой треноге. Фотограф, здоровенный детина лет пятидесяти, поколдовал с посадкой моей головы, навёл объектив и, как старые фотографы, снял массивную чёрную крышку с объектива.

— Придёте завтра в это же время за фото.

Это всё, что проронил этот человек. Фотография делалась на удостоверение. Их выдано мне было, кажется, две или три. Не распечатывая пакета, я был обязан передать фото в Управление делами, что я и сделал на следующий день.

За десять лет службы в аппарате ЦК мне раза три довелось побывать в этом фотоателье. Один раз меняли удостоверения, потому что заведующего управделами Павлова сменил печально известный Кручина. Это он в связи со скандалом вокруг денег ЦК КПСС в разгар перестройки выбросился (а может, выбросили?) из окна своей квартиры.

Ещё раз получали новые партбилеты...

Так вот всё тот же угрюмый, но постаревший детина-фотограф, когда я рассматривал на стене обновлённые после съезда ряд портретов, видно, от скуки заговорил со мной.

— Да, с ними работы много. И нам. И потом, — он кивнул в сторону внутренней двери, — там, в лаборатории. Вот недавно делал портрет Дмитрия Фёдоровича Устинова... Портрет при всех его регалиях в мундире маршала. Я спрашиваю у него: "А почему вы, Дмитрий Фёдорович, никогда и нигде не появлялись при всех ваших наградах?" А ведь он и Герой Союза, и дважды – Соцтруда, орденов Ленина смотри сколько... Так он, знаешь, что мне ответил? "А ты попробуй потаскай такую тяжесть. Грудь разламывается... Ведь почти пуд металла..."

Но вернусь к рассказу о Шепилове. Его позвали из открытой двери в парикмахерскую, а я сидел и

продолжал думать об этом импозантном красавце: "Вот что значит его величество случай! Поведи он себя тогда по-другому, не примкни к когорте стариков Политбюро, и был бы сейчас рядом с Хрущёвым. А при его уме, образованности, молодости, возможно, и его преемником... Хотя?"

Наши правители не успевают. Уж какие были мудрецы и Ленин, и Сталин... А не воспитали преемников. Уверенность в себе не позволила.

К тому времени я ещё смутно понимал, как варится "политическая кухня" там, на Верху, но зорко всматривался в людей оттуда и факты, приоткрывавшиеся мне...

В самом начале осени 1957 года, отработав на Всемирном фестивале и Третьих международных спортивных играх в Москве, побывав в отпуске, я с семьёй переехал из тогда ещё Сталинграда в тогда ещё Свердловск.

ТАСС поменял своих собкоров. Это практиковалось и в центральных газетах.

Почти одновременно в Свердловск из Москвы прибыл Владимир Семёнович Кружков, фигура известная в высших эшелонах власти. Членкор Академии наук, директор Института марксизма-ленинизма, ответственный за издания собраний сочинений Ленина и Сталина, зав. отделом пропаганды и агитации ЦК партии и прочее...

Уже при мне срочно провожали на пенсию старейшего редактора газеты "Уральский рабочий" (фамилию запамятовал), и Владимира Семёновича с его московских высот опустили в кресло главного редактора областной газеты.

Корпус собкоров центральной печати состоял на партийном учёте в парторганизации областной газеты. С приездом Кружкова в парторганизации состоялась отчётно-перевыборное собрание, и мы, два новых его

члена, оказались в партбюро. Если избрание Кружкова было обязательным, то моё было случайным, возможно, как противовес молодого старому. Этой дозировкой занимался секретарь по идеологии Свердловского обкома некто Куроедов, который осуществлял разработанный им же сценарий партсобраний. Года через два-три "мудрый" партфункционер был призван в Москву и назначен председателем Комитета по религиозной деятельности в СССР (впрочем, эта организация, руководившая церковью, кажется, называлась иначе).

Так вот, волею судеб и партии, мы, два новых человека в Свердловске, оказались в одной упряжке. Но сдружило нас не партбюро, а рыбалка. Кружков оказался страстным рыбаком и не просто, а заядлым зимним рыбаком, которые признают только подлёдный лов и готовятся к нему целый год.

Среди таких отчаянных фанатов мне довелось встретить за всю жизнь только ещё одного человека. По странному стечению обстоятельств он был тоже высоким номенклатурным работником, прошедшим почти тот же путь в партийной карьере, но уже при Брежневле. Это Борис Иванович Стукалин – председатель Госкомиздата, зав. отделом пропаганды ЦК, посол в Венгрии и прочее. Люди разных поколений и разного времени, но с одной огненной страстью рыбака.

Я тоже рыбак. Выросший на Волге. Но рыбак всепогодный. Однако – где мне до них!

Зимняя рыбалка – дело коллективное. Ездят на неё в компаниях, с друзьями. У Кружкова всего этого не было, и он пригласил меня. Поехали на двух машинах. Он – на редакционной, я – на тассовской.

Я предложил Кружкову не самое рыбное, но потрясающей красоты Синарское озеро, километрах в пятидесяти от Свердловска. Крутые гранитные берега, отроги гор, опушённые лесом, заснеженная гладь

причудливой формы самого озера, раскинувшегося на добрую сотню гектаров. Швейцария!

На рыбалке есть священные моменты, которые по эмоциональному накалу не уступают самому отчаянному клёву. Это когда рыбаки сбиваются в тесный кружок, достают из своих рыбацких ящиков и сумок заботливо приготовленную жёнами закуску и, естественно, водку. Под веселящий звон кружек, колпачков от термосов начинаются неспешные разговоры. У каждого (и это святое!) пол-литра. Этого, как правило, на всю рыбалку, особенно в морозные дни, не хватает, и самые предусмотрительные имеют "заначку", которая расценивается всеми как ниспослание божьей благодати. А её обладатель как герой дня.

Когда мы рыбачили вдвоём (непьющие шофёры не в счёт), до "заначки" дело доходило редко. Но основной запас в три-четыре присеста за день мы приканчивали. И вот тут шли те душевные разговоры.

Экипировка наша легко выдерживала уральские морозы до тридцати и выше градусов. Мы оба обзавелись одеждой полярных лётчиков. Лунки бурили рядом, и после очередного "сугрева" текли наши беседы.

Владимир Семёнович - человек скрытный и, что называется, "тёртый", побывавший в разных переплётах, разговорился только во вторую или в третью зиму наших совместных поездок, когда уже своим мудрым "рентгеновзглядом" проглядел меня насквозь.

Выпивал он всегда дозированно "свою норму". И даже когда возбуждался в беседах, в нём будто срабатывал тормоз, который глушил или напрочь обрывал его откровения. Поэтому почти всегда его рассказы оставались недосказанными.

Вначале по своей наивности я добивался продолжения, но моя настырность ни к чему не приводила. Кружков легко и деликатно переводил разговор на другие темы, часто в шуточное русло.

Ездили мы на рыбалки зим пять или шесть, пока у Кружкова не окончилась его уральская опала, и он вернулся в Москву. Вернулся, конечно, на скромную должность директора Института истории кино, где проработал до самой кончины, кажется, до середины восьмидесятых.

Через два или три года перебрался в Москву и я. Мы встречались несколько раз на совещаниях, просмотрах фильмов, премьеррах... Перезванивались редко. Интересов общих уже не было. Да и разница в возрасте, Владимир Семёнович был почти вдвое старше, не позволила продолжить нашу уральскую дружбу. Просто из неё выпал цемент – зимняя рыбалка, на котором она и держалась в Свердловске.

Вот те рассказы "о кухне" в высших эшелонах власти, какие мне довелось слышать от Владимира Семёновича Кружкова.

Когда зашёл разговор об антипартийной группе, на моё удивление, как такой умный и дальновидный политик, как Шепилов, оказался в этой компании, Кружков ответил:

— Да ведь в ней оказалось всё старое сталинское Политбюро. И Хрущёва оно сняло с поста Первого секретаря. Никиту спасла Фурцева. Когда Маленков, Молотов, Каганович, Булганин, Ворошилов и другие старики, посчитав, что дело сделано, ушли спать, Фурцева всю ночь названивала в области и республики секретарям, членам ЦК и срочно созывала их в Москву спасать Хрущева. Звонили в первую очередь тем молодым, кого Никита успел назначить уже после Сталина.

На другой день начинается Пленум. Маленков докладывает о решении Политбюро, а хрущёвская когорта со страшной силой начинает "нести" стариков. За ночь и речи уже написали. Не спал и Никита, и выступил с разгромным докладом против отступников и антиленинцев.

Тогда Хрущев предложил: никаких репрессий против антипартийной группы не применять, а только исключить главных зачинщиков из партии и послать их на хозяйственную работу в области.

Маленкова - директором электростанции в Сибирь, Кагановича - на Урал, директором Астбестовскогo горно-обогатительного комбината, Молотова - послом в Монголию, Сабурова - в ГДР... Рассовали их, рабов Божьих, в разные стороны, подальше от Москвы. А старика Ворошилова после его раскаяния со слезами оставили в Политбюро как безвредного.

Из стариков-сталинцев уцелел и Микоян, да ещё и стал Председателем Президиума Верховного Совета. Ну, этот при любых поворотах оказывался на поверхности. Он был даже двадцать седьмым бакинским комиссаром. И там выплыл...**

А Шепилов погорел по-глупому. Он даже не поддерживал решение Политбюро о снятии Хрущёва, а только сказал, что в руководстве должны произойти преобразования... Микоян отмолчался, а он высказался...

В минуты откровения, подкреплённого постоянным стремлением "сугрева" на жестоких уральских морозах, Владимир Семёнович часто восклицал:

— Эх, Володя, тёзка ты мой зелёный, держись подальше от этих сильных мира сего. Уж слишком паскудная у них жизнь при ближайшем рассмотрении. Постоянный страх, зависть, угодничество перед теми, кто выше тебя... Мерзость! Заклинаю! Держись подальше.

— Да меня никто и не подпускает! — хохотал я.

— Э-э-э! Не скажи. Ты молодой. В академию собираешься... Всё может быть. Но, попомни меня, лучше, чем это! — И он, вытащив руки из меховых варежек, свисавших на цветной поворотке из-за поднятого стоймя цигейкового ворота лётчицкой куртки, вскакивал с ящика и разводил ими, широко охватывая заснеженную ширь озера и его серо-зелёное обрамление из гранитных скал и хвойного леса. — Запомни, тёзка, лучшего состояния, чем молодость и свобода, у человека не бывает!

— Почему? — шутливо возразил я. — А женщины?

И Владимир Семёнович не без удовольствия подхватывал новую тему нашего разговора.

Слушая меня, он неожиданно спрашивал:

— А коленки у неё были с ямочками? — И, видя мои затруднения с ответом, безнадежно махал выхваченной из варежки рукой. — Эх, молодёжь! Ну, разве ж можно быть такими невнимательными? Кошмар!

Я знал о ходившей в партийных кругах версии, почему академик Георгий Фёдорович Александров, член ЦК и главный редактор газеты "Культура и жизнь", а также Владимир Семёнович Кружков и другие столпы идеологии были разжалованы Хрущёвым и высланы из Москвы. Говорили, что у этой группы был чуть ли коллективный гарем из молодых актрис и других деятельниц культуры, делавших скорую карьеру. Думаю, если что и было отдалённо похожее, но всё-таки пострадали они не за это.

Хрущёв сам был "ходок" не из последних. Почти вся страна знала о его связи с Фурцевой (он благоволил ей попасть в секретари ЦК, а затем в члены Политбюро).

Наверняка были более серьёзные причины. Я помню чересчур смелые по тем временам статьи академика Александрова в "Правде" и в "Культуре и жизни", где он был главным редактором. Последняя тогда была самым

смелым и интересным изданием. Здесь громили бюрократизм, инертность властей, нередко затрагивая и партийные сферы. А газета – орган ЦК!

Но время "оттепели" было на излёте. Хрущёв уже громил художников-модернистов и диссидентствующих поэтов. События в Венгрии, а раньше в ГДР и Польше подталкивали его к жёстким мерам. Противостояние с Америкой и дискуссия с Китаем нарастали, и Хрущёву ничего не оставалось, как вернуться к старому методу "завинчивания гаек".

Газету "Культура и жизнь" закрыли, а группу реформаторов Александрова рассеяли по стране. Сам Александров вскоре умер. Это случилось в шестьдесят втором году, когда ещё Кружков был на Урале. В закрытии газеты была и косвенная польза.

В 1958 году организовывался Союз писателей России, а на базе газеты "Культура и жизнь" появился орган нового союза писателей – "Литература и жизнь".

В это время было создано и бюро ЦК по РСФСР, и возглавлять его уехал в Москву первый секретарь Свердловского обкома, тогда ещё мало кому известный Андрей Павлович Кириленко.

Кружков неохотно включался в мои рассуждения об этих переменах и никогда не оценивал их, отшучиваясь затёртыми репликами: "Пути Господни неисповедимы", а если по-научному – "исторические зигзаги"...

Никогда не заходил у нас разговор о причинах его выпадения из властных структур. А когда до нас на Урал дошла весть о кончине академика Александрова, он отозвался о нём лишь словами "светлая голова" и перевёл разговор на общие рассуждения об "учёном мире", отзываясь о нём очень скептически.

— Настоящие только естественники да математики, а наш брат-гуманитарий так, как вы, молодые, говорите, "лабуда".

Он регулярно ездил на ежегодные общие собрания Академии наук, где избирались новые её члены. Вернувшись, он говорил:

— Ну, вот, тёзка, теперь у нас уже дюжина Платонов и Сократов. К Минцу, Митину, Федосееву и иже с ними добавились ещё философы: Ильичёв, Пospelов... Придётся тебе, Володя, изучать и их труды...

Но чаще Владимир Семёнович из этих поездок привозил пикантные смешные истории вроде следующей.

— Мой коллега, членкор Глушенко (кто такой, не знаю, но фамилию запомнил точно, потому что мой студенческий друг с такой), был на приёме у врача в нашей академической поликлинике. Врачиха молодая, пухленькая склонилась над ним и выслушивает сердце. Грудь из-под халатика так и выскакивает. И зарябило в глазах сердечного, и простынка, какой он прикрыт на топчане, вдруг затопорщилась. Глушенко хватил руками за грудь, врачиха ойкнула и к двери... — Владимир Семёнович делает долгую паузу, поправляет удочку, выгребает из лунки зашёрхлый ледок и уже другим голосом, со спавшим напряжением, продолжает: — Пока она бежала до двери у бедного профессора промелькнула вся его жизнь. Сейчас поднимут скандал... А дальше — разбор персонального дела на партбюро и собрании, стыдоба, взрослые дети, конец карьеры...

Но щёлкнула задвижка замка, и врачиха уже в расстёгнутом халатике предстала перед похолодевшим профессором. Простынка опала, а бедного пациента пришлось отпаивать сердечными каплями.

Отсюда мораль. Готовь себя, мой юный друг, к любым поворотам судьбы.

Вспоминая сейчас наше многолетнее общение "на чужбине" — выражение Кружкова, я прихожу к выводу, что Владимир Семёнович был типичным функционером

той сталинской эпохи, которая так трудно тогда выходила из нас, да и не ушла ещё окончательно и теперь. А в "прогрессисты", вкуче с академиком Александровым, он попал скорее случайно. Однако, человек умный и изворотливый, всё же не сумел вовремя сориентироваться в бурных событиях той партийной закулисы, куда его вынесла судьба.

Его жизнь и карьера легли на две эпохи: сталинскую и хрущёвскую. И хотя последняя была и мягче и демократичнее (это признавал и Кружков), однако, судя по нашим беседам, предпочтение он отдавал сталинской. "Тогда было ясней" - его слова.

Как и у многих его сверстников, у которых не было личных обид на Сталина, он относился к жестокостям вождя "философски", то есть если и не оправдывал их, то всегда находил "объективные причины" конкретных случаев репрессий: "Вынужден был", "обстоятельства диктовали", "защищал завоевания" и т. д...

К самой личности Сталина относился без пиетета, как к живому, но "в последние годы больному и поэтому непредсказуемому человеку".

3. На Урале

Встречи со Сталиным и Жуковым

— Близко наблюдал я Сталина, пожалуй, все послевоенные годы, — рассказывал Кружков. — Только личных встреч у меня было восемь. В его кабинетах в Кремле, в ЦК на Старой площади, на ближней даче в Волынском... Это не считая совещаний, заседаний Политбюро, секретариатов и других общих встреч, где присутствовали многие. Самые продолжительные — по изданию его собраний сочинений. По каждому тому — обязательные. А по отдельным статьям, по самым сложным документам через Поскрёбышева... Часто беседу Иосиф Виссарионович начинал с вопроса:

как идёт издание третьего "полного" собрания сочинений Ленина? На слове "полного" Кружков сделал такой странный и загадочный нажим голоса, что я смолой прицепился к нему с расспросами. И он ответил: "До полного вряд ли доживёшь и ты, молодой! Будет таких полных много. И четвертое, и пятое, и десятое..." Тогда же я узнал, что в ленинском архиве, в Институте Маркса-Ленина хранятся такие документы, к которым должен иметь "особый допуск" даже директор Инстиута.

— Вы имели? — спросил я.

— А зачем? Не было необходимости, — уклончиво ответил он. — Выслушав мой доклад, как идёт работа с ленинским собранием сочинений, Сталин спрашивал: "Какие трудности? Какая помощь нужна?" Я говорил. Он делал пометки на бумажке и тут же отвечал к кому нужно обратиться, что надо сделать. Всё чётко, быстро. Я записывал...

Потом разговор по его очередному тому. Я начинаю докладывать. Иосиф Виссарионович останавливает: "А

скажите, товарищ Кружков, только честно, не мешает ли сочинение Сталина издавать ленинское собрание? Вы ведь задерживаетесь с ним?"

Владимир Семёнович оборвал рассказ, перестал сотрясать "кивок" удочки, резко подсёк, потащил из воды леску, лихорадочно перехватывая её руками.

Из лунки, пробив ледовую кашу, выскользнул здоровенный тёмно-серый красавец ёрш-полуфунтовик.

Кружков радостно завопил:

— Царь ершей! Таких Демидов поставлял с Урала к царскому столу Екатерины! Красавец!

Ёрш, раскрылив жабы, глубоко заглотнул приманку, и Кружкову долго пришлось возиться с высвобождением крючка. Наконец, опустив леску в лунку, победителем повернулся ко мне.

— Так на чём я остановился?

Я выпалил:

— Сталин спросил вас, а вы ответили: "Да что вы, Иосиф Виссарионович, не мешает! Ваше, товарищ Сталин, издание, наоборот, помогает собранию сочинений Владимира Ильича!"

Кружков, перегнувшись в поясе и опустив голову чуть не до заснеженного льда, захохотал.

— А ведь я ответил ему почти то же... Только не так грубо... — выговаривал он сквозь смех слова. — Я же учёный... И ответил деликатнее...

В другой раз всё под ту же рюмку "сугрева" на уральском морозе Кружков шутливо предложил менять мои тридцать лет на его членкорство. Мы ударили по рукам. Я начал "требовать" и его академическую стипендию в 250 рублей. Но сделка сорвалась.

— Нет, пенсион не могу уступить... Как говорил поэт, хоть маленькая, а семья... На редакторский оклад не проживу. Ты получаешь больше меня. У тебя гонорары...

Про последнее посещение кабинета Сталина рассказал так:

— Кабинет был всё тот же. За многие годы в нём ничего не менялось. И мебель та же, и письменный стол так же выглядел. Всё на нём аккуратно, чисто, карандаши пиками, папочки стопочками... Только вот тяжёлые бархатные занавеси, какие раньше свисали до пола, были подрезаны сантиметров на двадцать.

— Это зачем? — наивно спросил я.

— Хмы! — усмехнулся Кружков. — А это, чтобы вождю было видно, не прячется ли кто за ними. Сталин выглядел уже неважно. Рука парализована. Но из-за стола встал, вышел навстречу. Кивнул присесть, а сам то стоял, то прохаживался... В мои материалы даже не заглянул. Я докладывал меньше десяти минут, — время, которое отвёл Поскрёбышев. Сталин глянул на часы, но не задержал меня... Это было уже после девятнадцатого съезда, где он говорил тоже коротко...

— А вот заседания комитета по Ленинским и Сталинским премиям с его участием проходили знаешь как?

— Да как, — поспешил ответить я. — Все смотрели вождю в рот и молчали. Или кивали, что согласны...

Кружков, недоумевая, поднял на меня глаза, будто выжидая, какую я ещё скажу глупость.

Моя несдержанность, грубые шутки и реплики, то, что я называл тракторно-бригадным воспитанием, сильно вредили в беседах. Я понимал это, но понимал всегда "задним умом". Сморожу глупость, выпалю непотребное и только потом спохватываюсь, краснею и страдаю нещадно.

Мудрый и деликатный Кружков как-то особенно участливо сопереживал мне. Чаще всего делал вид, что не замечает моих слов, иногда останавливал недоуменным или осуждающим взглядом. И совсем редко, когда моя шутка или реплика были удачными (а

случалось и это), Владимир Семёнович заливисто хохотал и в приступах смеха одобрительно показывал большой палец.

А когда мы сошлись поближе – это уже на второй и третий год жизни на Урале, он позволял себе мягкие отеческие поучения, которые никогда не были обидными. "Хорошее надо в себе воспитывать долго и упорно, — рассудительно замечал он, — а дурное прилипает само. Да так въедается, что не оторвёшь!"

Видя мои переживания, Владимир Семёнович, успокаивающе говорил: "Ничего, постареешь, поумнеешь".

Но он, видно, ошибался. Молодость ушла, а привычки, к сожалению, остались.

Помню, на мою реплику "смотрели в рот Сталину" после недоуменного молчания сказал:

— Конечно, Сталин есть Сталин. И его вот так, как ты, не перебьёшь. Но если кто возражал и предлагал что-то дельное, он выслушивал. На заседаниях комитета он слушал замечания Хачатуряна по музыке, Фадеева – по литературе... Большаков, когда обсуждались кандидатуры по кино, правда, обычно молчал...

— Ну, вот, Хачатурян не молчал – его и сняли! — не выдержал я. — И заменили на молчуна Хренникова...

А Кружков, не замечая моей реплики, продолжает:

— Идёт обсуждение документального кино. Большаков молчит. Сталин неторопливо расхаживает вдоль окон кабинета. Посматривает на членов комитета. И тоже молчит, но как-то напряжённо. Переводит взгляд на меня. Пауза затягивается... Поднимаюсь и говорю:

— Кинодокументалисты, которых мы обсуждали, уже награждались Сталинскими премиями. Каждый по два-три раза. А один (имя рек) уже четырежды. Всё это

заслуженные мастера. Но среди них нет молодых. Давайте подумаем? Хотя бы на будущее...

В зале некоторое оживление, лёгкое перешёптывание, но никто не поддерживает и никто не возражает. Все ждут, что скажет Сталин. А Иосиф Виссарионович продолжает молчать, лишь чуть замедлил шаги. Я повторяю ещё раз последнюю фразу и сажусь. В голове туман... И после паузы слышу:

— Пожалуй, замечание товарища Кружкова правильное... (Лёгкое движение в зале и робкие "да", "верно"...) У нас и по другим видам искусства и литературы часто идут одни и те же имена... Мало новых, молодых... — Опять пауза, и потом вопрос к Большакову: — Ну, эти операторы... Как достойные?

— Да, Иосиф Виссарионович, — вскакивает Большаков. — Они достойные. Лучшие у нас документалисты. Их фильмы...

— Тогда поступим так, — прервал Большакова Сталин, — дадим премию ещё раз. Последний...

В зале спадает напряжение, тихие вздохи, голоса одобрения... На заседании комитета были и трагикомические случаи. В последние годы Сталин страдал бессоницей и по ночам много читал из современной художественной литературы.

— Отличное средство от бессоницы! — выпаливаю я. — На себе испытал!

Кружков снисходительно морщит нос в улыбке и продолжает:

— Так вот, когда шло обсуждение этого средства от бессоницы, Иосиф Виссарионович всегда оживлялся. И проявлял такую осведомлённость, что Фадееву было трудно отвечать на его вопросы. Сталин знал новинки лучше. На ближней даче, в Волынском, у него всегда были свежие журналы и новые книги. Вот он по ночам и рылся в них. Любовь к художественной литературе у него особенная. Он расхваливал "Белую берёзу"

Бубеннова, снял с обсуждения роман Рыбакова за то, что тот скрыл судимость. Его осведомлённость поражала...

Как-то на обсуждении Сталин начал расхваливать повесть венгерского писателя о крестьянской жизни. Повесть он недавно прочёл в одном из наших "толстых" журналов. "Повесть талантлива. И она достойна премии!"

Естественно, ни автора, ни журнала он не назвал. Но сказал, что в этом произведении "талантливо раскрыта психология современного крестьянства демократической Венгрии, строящего новую колхозную жизнь".

Это зафиксировали в стенограмме.

Ни Фадеев, никто другой из присутствующих не читали повести. Однако все одобрительно закивали. Не нашлось и смельчака сказать, что Сталинская премия, по её положению, присуждается только советским авторам. Для иностранных есть Международная Ленинская премия. Но ведь предложил сам Сталин!

И завертелась машина. Из ЦК полетели поручения в Союз писателей, Институт мировой литературы, в редакции журналов - разыскать эту талантливую повесть! Обратились в Венгерское посольство, те по своим каналам... Все ищут злополучного автора с его повестью. А сроки поджимают. Ведь последнее заседание комитета уже состоялось. Сталин приходил только на них.

Списки лауреатов готовы, и оставленную чистую строчку надо заполнять...

Венгры предлагают кандидатуру своего старейшего писателя, который пишет о крестьянстве. Но его вещи, кажется, не переводились на русский! Как быть? Другого нет. Всё перерыли, а "талантливая крестьянская повесть" как в воду канула.

Решились на кандидатуру, предложенную венграми. Риск, конечно, большой. Но другого выхода нет. Да и вряд ли будет Сталин сверять фамилию...

Так и поступили. И среди лауреатов Сталинской премии первый и последний раз появился иностранец...

А через некоторое время выяснилось, что он, естественно, не тот, которого имел в виду Сталин. Какой-то досужий литературный червь разыскал-таки в журнале искомого автора. Это была никакая не повесть, а всего лишь небольшой на пять страничек рассказ. Да и журнал старый, за прошлые годы.

Но Сталину об этом, конечно, не доложили.

Через несколько лет, когда я уже учился в академии, эту же историю я услышал от нашего зав. кафедрой И.С. Черноуцана, который в то время работал в ЦК и участвовал в "поисках" венгерского автора. Все детали совпали. Лишь отличался конец истории.

Рассказ был обнаружен в старом номере "Нового мира" и уже тогда, когда все документы на премию были готовы к передаче на подпись Сталину. Кандидатуру писателя, которого предложили венгры, побоялись изъять из списков. И тогда приняли соломоново решение – добавили в списки и автора рассказа, который читал Сталин.

Так два венгерских писателя в одночасье стали лауреатами Сталинской премии.

Для Кружкова Сталин был реальной фигурой во плоти, живой, властный, мудрый, деспотичный... Все эти качества он воспринимал по-своему и по-своему объяснял.

Для меня же Сталин, хотя я и видел его "живьём", как и для всех, был легендой, человеком, созданным нашей пропагандой, выдуманным. А близость имени к забронзовевшему Ленину отрывала его совсем от реальности. Поэтому в разговорах о Сталине я, как и

многие, опирался на тот фольклор и выдумки, которыми обростала эта личность.

Как-то я спросил у Кружкова:

— А скажите, был ли у Сталина двойник?

Кружков недоумённо развёл руками, и я поспешил добавить:

— Ну, как же, многие говорят, да и пишут. Ещё когда хоронили его жену Аллилуеву, за гробом вроде бы шёл не Сталин, а загримированный под него артист. Об этом я где-то читал. А вот точный факт, — решил я убедить Кружкова. — Рассказывала моя учительница. А ей я доверяю. Ещё до войны, когда она была студенткой, то увлекалась альпинизмом. Были они в горах, на Кавказе. И однажды близко увидели кортеж легковых машин. Инструктор, видно, знал, что это за машины, и матом закричал: "Ложись!" Мы упали в траву и кустарник. А я всё же, — рассказывает учительница, — глаза приоткрыла и смотрю. Проскакивает одна машина - в ней Сталин. Проскакивает другая - и в ней тоже он... Я не могла ошибиться. Расстояние всего несколько метров, да и другие, кто смотрел, тоже видели. Но инструктор каждого настроено предупредил: "Молчать!"

— А вот второй, столь же достоверный рассказ, — улыбаясь, смотрит на меня Кружков. — Его я тоже слышал из первых уст. Сталин приезжает первый раз на дачу на Кавказе. Заходит в прихожую, оглядывает комнату и вдруг поворачивается к сопровождающему его чекисту:

— Молоток и гвоздь. Быстро!

Тот сломя голову выбегает. Через минуту у Сталина в руках молоток и гвоздь. Он вбивает его в притолоку и вешает на него френч...

Тогда у нас впервые вместо открытых вешалок в прихожих стали появляться встроенные шкафы. А товарищ Сталин не знал об этом... — Умолкнув,

Владимир Семёнович, хитро улыбнувшись, добавляет: – Надо полагать, это случилось со Сталиным именно тогда, когда он с двойником приехал на дачу. Их-то тогда и видела твоя любимая учительница.

— Напрасно иронизируете, Владимир Семёнович, многие великие имели двойников. Гитлер тоже...

— Почему тоже? — резко остановил меня Кружков, и я услышал в его голосе ту начальственную жёсткость, с какой он, видно, выговаривал подчинённым, когда был на верхних этажах власти. В лице сначала мелькнула тень страха, а затем раздражение и обида. И я понял, откуда эти переживания. Они от моего невольного сравнения Сталина и Гитлера...

Однако, поняв, что я и не думал о такой "крамоле". Кружков тут же смягчился. Но раздражение и страх были явными, и мне стало жалко этого человека.

Откуда они шли, я смог понять несколькими годами позже. В отличие от меня и таких же простых смертных, Кружков знал, что западная пропаганда уже давно ставит эти имена рядом. "Кощунство и святотатство!" – даже для тех, кто соглашался с критикой культа личности Сталина. Таким, конечно, был и я.

Именно в то время с Урала мы вместе с женой Юлией поехали в туристическую поездку в Италию, и я был глубоко оскорблён тем, что увидел в Риме, в музее восковых фигур Сталина и Гитлера рядом.

Подогреваемый дешёвым вином по цене, равной минеральной воде, я шумно высказал гиду своё возмущение. А тот спокойно ответил:

— А чего? Убийцы стоят рядом. Нормально! — И тут же восхищённо заговорил о том, что одежда на обоих подлинная. Такого нет даже в знаменитом лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо.

— Не знаю, как с одеждой Гитлера, — опять ввязался я в спор, — а с одеждой Сталина – подделка!

На Сталине была светлая кавказская косоворотка, подпоясанная тонким ремнём с набором костяных бляшек. Именно эти две вещи из сталинского туалета и составляли особую гордость музея. В его архиве хранился документ, который удостоверял их подлинность. Вещи были куплены у бывшего секретаря Сталина, который ещё в тридцатые годы бежал из России...

— Вас надули! — не согласился я, хотя и слышал что-то об этом сталинском перебежчике.

Стоявшая летом 1960 года небывалая жара в Италии и вино, которым мы гасили жажду, не позволили мне поступить иначе.

По возвращении из Италии я рассказал об этом эпизоде Кружкову, и тот шутливо похвалил мою "большевицкую твёрдость". Хотя и заметил, что одежда могла быть и подлинная. И назвал фамилию того секретаря-беглеца, который, охотясь, кажется, в Средней Азии (может, на Кавказе?) перешёл границу и потом написал даже книгу о Сталине. Фамилия его, кажется, Баженов.

Сейчас, спустя столько лет, под моим пером разговоры о Сталине выстраиваются в определённую и, кажется, имеющую логику линию. Тогда же они наверняка были иными. Отрывочными, спонтанными (говорил один, потом другой) и, конечно, растянувшимися на несколько лет...

Помню, я спрашивал у Кружкова, почему Сталин почти сразу после войны отдалил от себя первого маршала и самого талантливого военачальника Жукова. "Ведь всё на ваших глазах, Владимир Семёнович! Почему?"

— Ну, самым Первым и талантливым был сам Сталин, — улыбнулся Кружков. — А причина всё та же... И одна, человеческая, по какой Жукова отстранил и Хрущёв. Первые лица не уживаются с теми, кто их

спасал и кому они обязаны... Вообще, люди стараются забыть тех, кто им оказывал услуги. Ведь услуга – это ещё и унижение.

Я рассказал, как в 1945 году, работая в редакции информации (РИО) ТАСС (нас, собкоров, иногда вызывали в Москву на стажировку), был свидетелем переполоха "на выпуске". Министр обороны Г.К. Жуков находился с военной делегацией в Югославии. А информация в печати о его пребывании шла на удивление скупая. Жукова сопровождали корреспонденты центральных газет и наш, тассовский. И вот маршал устроил им разнос.

Больше всех досталось тассовцу, потому что газеты печатали только наши короткие заметки.

Поздно вечером я дежурил на выпуске. Звонит разгневанный корреспондент из Белграда и попадает на меня. Рассказывает о возмущении Жукова и просит меня обо всём доложить начальству. Сам он никак не может пробиться.

Разделяя его возмущение, иду на Верх. Дежурил по ТАСС зам. Генерального Вишневский. Захожу в кабинет, передаю разговор, наивно добавляя и свои возмущения. Вишневский слушает без всякого участия и интереса, демонстрируя чрезвычайную занятость. Я недоуменно умолкаю. Наверно, видя моё глупое лицо, успокаивающе говорит: "Если ещё раз позвонят из Белграда, скажи, что доложил".

— Чудак! — хитро смотрит на меня Кружков. — Жукова и отправили в Югославию затем, чтобы подготовить его снятие. Если бы он был в стране, оно могло бы и не состояться.

И опять разговор заходит о войне, потому что имя Жукова всегда рядом с ней.

Кружков рассказывает, как он работал замом у Щербакова в Совинформбюро.

— Сводки о боях на фронтах мы всегда перед выпуском подавали Сталину. Если дела шли плохо, они возвращались от него неузнаваемыми. Зная, что Сталин в этих делах увеличивает потери немецкой стороны в живой силе и технике, мы и сами в Совинформбюро делали такие упреждения.

Но до Сталина Щербаков не дотягивал. Вождь не щадил немцев. Если по нашим сводкам посчитать все потерянные противником самолёты, танки, корабли, орудия и людские силы, то ни в Германии, ни в захваченной ей Европе не осталось бы ни людей, ни техники уже к середине войны! В самые трудные первые месяцы войны об оставленных городах Сталин давал добро сообщать только через несколько дней, когда уже бои шли далеко за ними и молчать было нельзя.

Как-то в тяжёлые дни на фронте я встретил Жукова и Василевского в приёмной Сталина. Они ожидали приёма, а я сводку Совинформбюро, которую ему понесли на подпись. Поздоровались, отошли и ждут. Я сижу на стуле, они стоят и тихо перешёптываются. Сводка задерживается. Поскрёбышев за своим столом отвечает на звонки. Натянут, как струна...

Наконец, резкий звонок из кабинета. Через минуту Поскрёбышев появляется с бумагой. На ходу рассматривает её и говорит Жукову и Василевскому:

— Товарищ Сталин разговаривает по ВЧ, придётся подождать ещё.

И передаёт сводку мне. Она вся исчёркана. Новые цифры, другие слова. Бумагу рассматривают Жуков и Василевский. Они знают, какая сводка уходила к Сталину, и внимательно смотрят на его правку. Ведь сведения давал Генштаб. Жуков напряжённо морщит лоб и потом заливается краской, будто его уличили во лжи; лицо Василевского непроницаемо. Не проронив ни слова, оба молча отходят от меня...

После долгой паузы Кружков заключает рассказ фразой: "Действия Сталина не комментируются и не обсуждаются..."

Если я скажу, что личность Жукова волновала меня больше, чем личность любого нашего военачальника, это никого не удивит. Такое происходило с большинством его современников, переживших войну. Но у меня этот интерес шёл от отца-воина, который ценил Жукова самой высокой мерой и всегда высказывал сожаление, что ему за всю войну так и "не выпало счастье повидать этого человека".

— В дивизии нашей Георгий Константинович был два раза. Многие видели его, а мне не довелось! — как о самой большой потере на войне говорил отец. — А теперь где ж?

Когда Сталин, уже через год после войны, отстранил Жукова и отправил командовать сначала Одесским, затем и Уральским военными округами, отец сильно переживал "за своего любимого маршала" и всё допытывался у меня: "Откуда такая несправедливость? Какой же Булганин полководец? — спрашивал у меня отец, когда уже Хрущёв разжаловал Георгия Константиновича. — Почему он заменил Жукова? А теперь Жукова на Урал? В ссылку, что ли?"

Вспомнив эти обжигающие разговоры с отцом, я переадресовал его злые вопросы всезнающему Кружкову.

— Почему отправили Жукова в Свердловск? Неужели боялись, что убежит за границу?

— Ну, что ты. Все знали Жукова.

— А замов Жукова посадили, — не унимался я. — Да и на самого Георгия Константиновича дело стряпалось...

Сейчас многое валится на Сталина. Он не ангел. Но при нём были такие личности... Один Берия чего стоит! Я думаю, Сталин не поверил ему, когда тот уже

собирался сожрать Жукова. А отправил его подальше от Москвы... Чтоб спасти...

— Как?!? — недоумённо спрашиваю я.

— А вот так... — отвечает Кружков и сердито умолкает.

Я уже знаю, что он сердится на себя, что сказал лишнее, и тоже умолкаю.

Рассказы о Жукове очевидцев мне довелось слышать не раз. Слышал я их и от свердловчан, которые наблюдали за его жизнью, когда он командовал здесь округом. Драматург Афанасий Салынский, он тогда ещё жил в Свердловске, поведал такой эпизод, о котором я слышал потом и от других свердловчан.

В октябрьскую годовщину Жуков, как и в Москве, выезжал принимать парад войск на коне. И вот однажды на обледенелой брусчатке площади "1905 года" конь споткнулся, и Жуков слетел с него. Упал, но повод удержал. Тут же вскочил в седло и поскакал. Но случилась ещё одна беда. Перед самыми трибунами, где стояло местное начальство, подкова его коня попала в жёлоб трамвайной рельсы. Конь растянулся в шпагате, и теперь уже Жуков прыгнул сам. Высвободив ногу коня, маршал вновь легко взлетел в седло и продолжил своё приветствие войсковым построениям. Ему уже было под шестьдесят, но кавалерийская закалка выручила маршала.

Подобные рассказы об удивительном самообладании и выдержке Жукова доводилось слышать и от других очевидцев, в том числе от тех, кто хорошо знал маршала.

Брал интервью у сменившего Жукова на посту командующего Уральским военным округом Якова Григорьевича Крейзера, Героя Советского Союза и, по моему, тогда ещё генерал-полковника.

Беседовали мы в том же особняке, в парке Свердлова, где жил Жуков. Яков Григорьевич сказал,

что ничего не изменилось после отъезда Жукова, та же мебель, те же дорожки и ковры. И в кабинете всё так же, как и при Жукове.

Тема интервью была "Шефство и помощь офицеров округа в подготовке допризывников". Крейзер говорил, что эту шефскую работу в округе начинал Георгий Константинович. И я, помню, написал в интервью об этом. Интервью прошло по ТАСС, было напечатано в газетах, а упоминание о Жукове сняли...

И всё же мне пришлось видеть Георгия Константиновича. Случилось такое в Москве. Первый раз в октябре 1965 года (есть дневниковая запись, и я приведу её позже в главе о Твардовском). Второй раз уже незадолго перед его кончиной. Это было в начале семидесятых, и тоже в ЦДЛ.

Не помню, чему была посвящена эта встреча, может, выходу его воспоминаний, которые тогда все рвали из рук.

Писатели устроили в большом зале нашего Дома такую громовую авацию и так долго не давали начальству открыть встречу, что из президиума несколько раз призывали собравшихся на встречу успокоиться. А люди не унимались.

Зал переполнен. Я стоял у правого бокового выхода, недалеко от сцены и, через головы в проходе, рассматривал Жукова.

Сильно постаревший и потучневший маршал выглядел всё ещё молодцом. Светлый военный мундир. Четыре золотых звезды Героя и цветные колодки символов орденов и медалей заняли весь борт мундира почти до пояса.

Жуков стоял и хлопал тоже. Чисто выбритое лицо со складками старческого увядания в довольной полуулыбке. Во всей приземистой и сохранившей военную выправку фигуре, в посадке головы – достоинство и самообладание, какое, видно, воспитал в

себе с войны и после той короткой, но оглушительной славы.

Смотрел и думал. Какая странная и вместе с тем типичная судьба великих полководцев! Суворов, Наполеон, Кутузов, Жуков – все доживали и доживают жизнь в забвении и одиночестве. И хотя Наполеон дал Франции знаменитый гражданский кодекс, посмертную его славу составляли всё же наполеоновские войны. Да и умел он лишь воевать блестяще. Мудрый Суворов создал науку побеждать и весь был в войне. Кутузова из деревенского небытия востребовала война 1812 года... А Жуков?

О его "заслугах перед советским отечеством" сейчас говорил Константин Симонов. Он, пожалуй, больше всех в зале, лично знал Жукова. Говорил хорошо, умно. Стал вслушиваться, и мне показалось, что всё это где-то слышал или читал? И вдруг вспомнил. Ба! Да это же симоновские воспоминания о живом Жукове. Они были в нашем секторе журналов ЦК партии. Дисциплинированный Симонов передал рукопись (помню, более двадцати машинописных страниц) в отдел пропаганды. Он собирался опубликовать военные мемуары, кажется в "Новом мире", поэтому они и попали в наш сектор журналов.

Добро на публикацию дано не было. Видимо, потому что в это время страну захлестнула кампания по изучению и обсуждению мемуаров другого выдающегося полководца – Леонида Брежнева, и центр всей войны переместился на "Малую землю". В то же время гулял анекдот, который, на мой взгляд, характеризует отношение народа к "переживаемому моменту".

Обсуждают Жуков и Сталин очередную военную операцию. Сталин спрашивает:

— А ви, товарищ Жюков, посоветовались с полковником Брежневым?

Грустный анекдот. Грустная судьба полководца...

Окончилась война. И не обученному военному делу генералиссимусу незачем делить славу и лавры Победы с маршалом...

Прорвался на пост руководителя страны другой неуч с генерал-лейтенантскими погонами. Ему нужна военная поддержка и опора в борьбе с другими конкурентами, и он снимает опалу с полководца. А когда дело сделано и претенденты убраны, мавру, увы, нужно уходить... И его "уходят"...

Стоял, смотрел, слушал и думал: "Хорошо, хоть эта встреча... Она отогрела душу старого солдата-воина. (Так, говорят, любил он себя называть! Да и название его воспоминаний подтверждает это!) А ведь её могло и не быть. Три десятка лет (с небольшим хрущёвским перерывом) умолчания и забвения. Ни слова в газетах, ни звука по радио, ни картинки на телевидении... Все военачальники, ходившие под Жуковым, и даже те, кого он, видимо, и не знал, издали тома своих военных мемуаров, а Жуков молчит..."

И вот прорыв, отдушина... Говорят, что к истинным героям слава приходит только посмертно. Тогда и книги о них пишут, и памятники им ставят...

Слава Богу, что Георгий Константинович хоть в самом конце своей жизни увидел свою "историческую перспективу".

3. Интервью с Великими.

Когда я ходил по комнатам особняка командующего Урал ВО, а потом сидел в кабинете и беседовал с Яковом Григорьевичем Крейзером, и он рассказывал о Жукове, я несколько раз ловил себя на мысли: "Вот же какая невезуха! Ну появись я раньше в Свердловске (а ведь мог, ведь уже работал в ТАСС) и сидел бы в этом кабинете перед бывшим хозяином, брал бы тоже интервью.

Мог бы обо всём рассказать отцу и обрадовать старика, который тогда уже неизлечимо захворал...

А уж порадовался бы он обязательно! Они одноклассники, оба из простых сельских многодетных семей, в один год призывались в царскую армию, прошли без перерыва две войны, империалистическую и гражданскую.

В первую мировую они дослужились до унтер-офицеров, а в гражданскую – до командиров взводов...

А вот дальше их дороги круто расходятся. Отец возвращается в крестьянство, а Жуков остаётся в армии и вступает в партию в 1919 году. Одно начало, но разные жизни! Отцу, естественно, и в голову не приходило это сравнение.

Да и я раньше никогда не думал об этом... Но теперь, когда их обоих уже давно нет, вдруг...

А вот согласился бы Георгий Константинович на интервью даже в его опальном положении, почти не сомневался. Журналистской смелости и молодого нахальства мне тогда было не занимать.

После того как моё тассовское интервью с первым начальником строительства Сталинградской ГЭС, а потом и министром энергетики Логиновым было опубликовано в "Правде" и почти во всех газетах страны, я обнаглел и уже не боялся подходить к деятелям любой величины.

Другое дело – не все и не всегда на интервью соглашались. Но моя настырность часто брала верх.

Почему я думаю, что уговорил бы тогда Жукова дать интервью (не мне же, а ТАСС!). Во-первых, тема нейтральная. А во-вторых, я бы уговаривал его, как Крейзера, в "тёплой, непринуждённой обстановке". А она всегда возникала после парада войск во время многочасовой демонстрации многомиллионного Свердловска. Колонны заводов-гигантов текли через центральную площадь "1905 года". Простоять на

открытых трибунах на морозном ветру даже самые стойкие руководители области могли не больше часа, а потом летели в чрево "каменной преисподней" под трибунами. Здесь всегда оборудовался правительственный буфет, где были коньяк, водка, горячие чай, кофе и шикарная закуска. Корпус собкором центральных газет, который приглашался на трибуны, спускался выпить "рюмку чая" раньше других.

Вот тут-то и происходило наше задушевное общение с сильными мира. Рассказывают, что спускался сюда после парадов и Жуков. Все люди, и все смертные...

Уверенность в журналистском всемогуществе крепла во мне от публикации к публикации. Интервью с международными деятелями и нашим высоким руководством особенно густо шли из Сталинграда.

Первое послевоенное десятилетие, да и потом ещё долго этот город был Меккой не только для иностранцев, но и для отечественных знаменитостей. А для журналистов он был кладом.

Я посылал интервью в разные редакции ТАСС чуть ли не ежедневно. В нашей конторе чётко действовала система поощрений за лучшие материалы. Как и везде в печатных органах, они оплачивались повышенным гонораром, но у нас ещё немедленными премиями с высылкой поздравительной телеграммы и перевода денег сразу после опубликования.

Были случаи, когда я получал высшую премию в 500 рублей (при моём окладе в 120 рублей!) за десятистрочную информацию. Это мировые сенсации, которые брали все зарубежные агентства. Помню две таких информации, переданные мной из Свердловска: сообщение о том, что сбит американский самолёт-шпион и пленён лётчик Пауэрс; и выпуске на "Уралмаше" крупнейшего в мире экскаватора с ковшем 50 кубометров.

Однако случались и проколы, когда я за свои интервью с "высокопоставленными деятелями" получал нагоняи. Если обычная, не нужная с точки зрения редакции информация не идёт на выпуск, то и дело с концом. Но когда я взял интервью у важной персоны, а появление её имени в печати строго дозировано лишь сухой протокольной информацией, то это там, на Верху, кому-то обязательно доставит ненужные хлопоты.

И вот тогда из Москвы летит карающий бумеранг. Чаще это происходило с интервью с высшим партийным начальством. Приедет в область член Политбюро или секретарь ЦК. С невероятным трудом добьёшься с ним интервью, а он оказывается в немилости у самого Генсека. Если в ТАСС тот, кто на выпуске, не знает об этом, и материал проходит, то нагоняй ему, а мне раздражение и втык от начальства.

Когда же интервью задерживают в редакции, а тот, у кого я его брал, заинтересован в нём и звонит генеральному директору ТАСС, то уж тогда всех собак спускали на меня. Так было при Хрущёве с моим интервью с Андреем Павловичем Кириленко.

Я хорошо знал его по Свердловску. Но вот сделали его кандидатом в члены Политбюро и призвали в Москву.

Как-то приезжает он на Урал проводить региональное совещание по промышленности, и я по старой памяти беру интервью, не ведая, что он в это время попал в немилость к Хрущёву. Скандал. Меня строго предупреждают: "Без санкций редакции к высоким лицам не соваться!"

Подобные предупреждения я получал и в Сталинграде, но там случилось и так, что "за нарушение запрета" я получал благодарность и премию.

А как вышло? Приехал в Сталинград с визитом бывший посол США в СССР Аверелл Гарриман, очень популярная в войну в нашей стране личность, когда мы

дружили с Америкой. Он занимал высокую должность в администрации президента, но, видимо, в силу недобрых высказываний в адрес нашей страны я получил инструкцию дать только официальную информацию о его пребывании в городе.

Встретился с ним в гостинице, бывший посол оказался на редкость приветливым и разговорчивым человеком. К тому же Гарриман неплохо говорил по-русски, а когда он узнал, что я сталинградец и во время боев находился в городе, вовсе оживился и сам стал расспрашивать.

Дело в том, что он первый из иностранцев сразу после освобождения Сталинграда посетил наш город, и мы в завязавшейся беседе стали вспоминать и сравнивать, как Сталинград выглядел тогда и каким он стал теперь.

Высокий худощавый старик, а Гарриману тогда было под семьдесят, так расчувствовался, что у него даже навернулись слёзы. Они появились, когда он начал расспрашивать меня о знаменитом фонтане на привокзальной площади, со скульптурами детей.

— Какое же это было потрясающее зрелище! — восклицал Гарриман. — Человек сходит с перрона и видит ужасный лик войны. Обезглавленные, безрукие и безногие дети, разбитый в щепы бетон фонтана. Видит, какая она страшная, война! Это выше всех слов, какие говорят борцы за мир. Выше! Зачем же это место заасфальтировали? Зачем?

Я был согласен с американцем. И он начал говорить о советских людях. Говорил хорошо. Хвалил строителей Сталинграда. Восхищался Волго-Доном и Сталинградской ГЭС, и я просто не мог не написать этого интервью. А написав, рискнул передать его в редакцию. Каким же было моё удивление, когда на следующий день, развернув "Правду", я увидел его на третьей внутренней полосе "полуподвалом", с

традиционной подписью (г. Сталинград, ТАСС). Эту подпись мы, тассовцы, называли "могилой неизвестного солдата". Имена на наших даже объёмных материалах ставили в редких случаях. Только тогда, когда материал заказывала агентству какая-то газета или когда они шли по редакции "прессбюро ТАСС".

И всё же, увидев в "Правде" своё интервью, даже без имени, я был несказанно рад. Ходил несколько дней именинником.

Я часто упоминаю газету "Правда". И хотя она была чуть ли не самая скучная из центральных газет, появление материалов на её страницах обеспечивало журналисту наивысшее признание среди коллег. А уж у начальства чуть ли не бессмертие. Ещё бы! Высший официоз! Выход первого номера этой газеты 5 мая – День печати, наш праздник и праздник всей страны.

Вспоминаю сейчас то время и недоумеваю, как же мы крепко были опутаны придуманными условностями и дутыми ценностями? Сколько глупостей и несуразностей втащили в свою жизнь. Но вот парадокс! При всём этом были ещё и счастливы. А мы, молодые, без тени сомнения, счастливы искренне. Конечно, потому что молоды... И всё же, всё же...

Почему в своей журналистской карьере я вспоминаю только интервью? Я любил этот жанр. Подготовь заранее нужные вопросы, узнай побольше об интервьюируемом и вперёд!

Любил ещё и потому, что, видимо, имел какой-то дар общения с незнакомым человеком и мог его разговорить.

Кстати, это мне здорово помогло и в писательской работе. Особенно в её начале. Все мои первые книги, по существу, беседы с интересными людьми. Главным образом, прошедшими войну.

А мне у них было, что спросить и о чём с ними побеседовать. Видимо, недаром я и диссертацию

выбрал близкую к этой теме: "Современная художественно-документальная литература".

Но я отвлекся. Скажу, мою любовь к интервью заметили раньше и поддержали в местных газетах, а потом уже в ТАСС. В телеграфном агентстве на протяжении всей более чем десятилетней службы меня постоянно вызывали на всесоюзные и международные спортивные события. А в их освещении главным образом были интервью.

Помню, на фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году, меня включили в группу ТАСС, которая отвечала за интервью с высокими гостями на фестивале.

Именно тогда у меня было самое короткое интервью со знаменитым философом и писателем, отцом французского экзистенциализма Жаном Полем Сартром.

Мы прорвались к этому низкорослому худосочному человечку в массивных задымлённых очках, когда он уже поднялся с места и собирался покинуть трибуны Лужников.

— Коротко! Ваше впечатление об открытии фестиваля для ТАСС, — крикнул я переводчице.

И та выпалила фразу Сартру по-французски.

Маленький, будто приплюснутый сверху человечек, от чего голова ушла в плечи, перевёл взгляд на мой блокнот, вскинутый на изготовку, и что-то сердито ответил. Переводчица, юная выпускница МГИМО, залилась краской. А разгневанный интервьюируемый, обойдя нас, устремился по ступенькам к выходу.

— Он что? Послал нас по французской матушке?

Переводчица наконец пришла в себя и тихо, доверительно сказала:

— Знаешь, что он сказал? "Я устал от этого хорошо отретпетированного энтузиазма".

Я потом "по секрету" стал рассказывать об этом интервью своим друзьям-тассовцам, пока мой отец-

благодетель зам. генерального Александр Иванович Бернов не пригласил меня в свой кабинет и строго приструнил: "Перестань болтать, а то и я не смогу тебе ничем помочь".

4. В Зазеркалье

Я уже упоминал, что Андрей Павлович Кириленко, первый секретарь обкома, в самом начале моего пребывания на Урале был избран кандидатом в члены Политбюро. С этого момента он вошёл в особенную касту людей, о пребывании которых на любом мероприятии обязаны сообщать печать и радио. Сообщения должны быть обязательно правительственными, и их давал ТАСС.

Вскоре Кириленко баллотировался в Верховный Совет по Невьянскому избирательному округу. Первая поездка – небольшой городок Невьянск в сотне километров от Свердловска. Там перед уральцами Андрей Павлович должен произнести большую предвыборную речь, а я сделать из неё определённого размера (кажется, около газетной полосы) публикацию и передать её в ТАСС, чтобы она завтра появилась во всех газетах страны.

Морозная уральская зима. Дорогу еле успевают очищать от снега. А он валит и валит. Едем в тяжёлом правительственном "ЗИЛе", который, как танк, разбивает свежие перемёты снега. Рядом с шофёром охранник. Мы на заднем сидении. Кириленко в середине. Я с одной стороны, помощник с другой. На откидных сидениях второй охранник и зав. финсектором обкома, который обеспечивает наш выезд.

За нами ещё две "Волги", но они где-то отстали.

Кириленко нервничает. Мы можем опоздать к шести часам, на которые назначено собрание.

— В случае чего, — рассуждает он, — там могут и подождать. А вот у тебя как? — обращается он ко мне. — Ты успеешь передать? Ведь речь большая.

Я успокаиваю его:

— Есть два часа в запасе. Разница свердловского времени с Москвой. А потом можно начать передавать, как только доберёмся до телефона.

— Что? Раньше, чем я начну её произносить? — удивляется он.

— Не раньше. А можно одновременно. Если вы, конечно, не будете сильно отрываться от текста.

И опять ко мне:

— А у тебя всё готово?

Идёт нудный разговор. Я на "вы", а он на "ты". Все напряжённо молчат. Нервозность "хозяина" передаётся и мне, хотя я и знаю - волноваться нечего! Почти за десять лет службы в ТАСС был я и в более сложных ситуациях, и всё обходилось. Если пурга и заносы не позволят нам добраться до Невьянска, то уж до ближайшего телефона мы пробьёмся.

Обогнав чистивший впереди нас дорогу трактор, мы километра через три вязнем в сугробе. У нас два выхода: или ждать снегоочиститель, который теперь идёт за нами, или попытаться пробиться вперёд, где рокошет ещё один, какой, кажется, уходит от нас.

Все, кроме шофёра, выскакиваем из машины. Но охранник удерживает в салоне Кириленко ноющей просьбой с нотками отчаяния.

— Андрей Павлович! Не положено! Андрей Павлович! Нельзя! Не нарушайте...

Мы, пятеро молодых мужиков - два охранника, помощник и я с обкомовцем - всё же вытаскиваем наш бронированный "ЗИЛ" из снежного плена и летим в круговерти пурги дальше.

До Невьянска добираемся вовремя. Дворец культуры переполнен нарядными людьми, играет музыка. Кумач флагов, яркие лозунги, портреты членов Политбюро. В центре сцены большой портрет того, кого ещё полчаса назад охранник так и не выпустил из машины...

Всё идёт, как и намечено. Прослушав выступление доверенного лица и начало речи Кириленко, спокойно прохожу в кабинет директора дворца и заказываю по правительственной связи Москву...

Речь Кириленко, которую я знаю почти наизусть, потому что последнюю неделю с помощниками работал над ней, гремит в динамиках...

Через несколько минут резкий звонок телефона и ласково-вкрадчивый голос телефонистки: "Москва на проводе..."

Банкетный стол накрыт в одной из комнат дворца. Судя по закускам, машины, которые отстали, прибыли. Аплодисменты и шум зала наконец смолкают в динамике. Мы уже с помощником выпили по рюмке водки и закусили бутербродом с красной икрой. Сейчас помощник метнулся навстречу Хозяину, а я "с чувством выполненного долга" восседаю в кресле и прислушиваюсь, как по всему телу блаженно разливается тепло...

Суетное напряжение длиннющего дня, начавшегося ещё до рассвета, оборвалось вместе с шумом в зале, и я шепчу себе похвальную: "Всё путём, всё путём..."

Помощник уже доложил Кириленко о завершении "нашей работы". Тот, увидев меня, спрашивает:

— Ну, как? Всё передали? Вовремя?

— Всё! И даже раньше срока...

Низкорослый, тучный Кириленко берёт меня под руку и ведёт в ту комнату, откуда я только что вышел.

— Пойдёмте, — приглашает он всех. — После трудов праведных...

Однако мои расчёты прослужить недолго на Старой площади лопнули. Я попал на эскалатор, с которого по своей воле не сходят, если, конечно, с тобой не произойдет какое-нибудь ЧП. Но такое – редкость. За все годы службы в отделе пропаганды, где работала сотня человек, случилось всего три ЧП.

Первый случай. Зав. сектором телевидения и радио Павел Московский был в командировке в Чехословакии и по пьянке выразил сочувствие чехам по поводу ввода наших войск в их страну. Из ЦК КПЧ позвонили в наше ЦК и доложили. Тут же звонок из Москвы в Прагу: "В аппарате ЦК КПСС товарищ Московский не работает. Он из другого ведомства".

Павел вернулся из командировки и, не ведая о случившемся, идёт на службу. В нашем подъезде номер десять охрана отбирает у него удостоверение и выставляет за дверь.

Правда, работу ему всё же определили. Отправили в журнал ЦК "Агитатор".

Второй случай. Консультант Плетнёв, доктор наук, который с полгода назад был взят к нам из какого-то института, работая над докладом к очередной годовщине рождения Ленина, вписал в текст цитату Троцкого, приняв её за ленинскую, так как выудил её из собрания сочинений последнего!

Доклад был озвучен одним из членов Политбюро, и никто ничего не заметил, потому что цитата уж очень "подходила теме", а главное - была "свежей и незаезженной".

Однако какой-то червь марксизма узрел крамолу и написал в ЦК. Незадачливого доктора наук отправили в тот же институт, но уже с выговором и понижением.

Третий случай. Помощник зав. отделом, работая допоздна с документами, прижал в своём кабинете с её согласия молоденькую уборщицу. На их несчастье по этажу проходил охранник с проверкой кабинетов. Написал докладную своему начальству... Помощника отправили на работу в журнал ЦК "Политсамообразование".

У конторы было золотое правило: не выбрасывать провинившихся сотрудников на улицу.

Однако я вёл речь о другом, более важном, возведённом в закон, правиле. Человек, выталкиваемый на Самый Верх власти (а "Верх" начинался с секретаря ЦК до членов Политбюро), по этому неписаному закону рубил свои прежние связи. Теперь он не только на службе, но и дома, на даче и даже во время отдыха в отпуске был ограждён таким частоколом охраны и условностей, что к нему не могли пробиться его прежние друзья и знакомые. К нему не могут попасть без особого пропуска также и его близкие родственники. Для них он должен заказывать каждый раз пропуск, с личной отметкой времени прибытия и убытия.

Когда я бежал по зданию общежития Академии на Садово-Кудринской и слышал от коллег, что меня "разыскивает Кириленко из ЦК", моя житейская наивность ещё позволяла верить, что это именно так. Однако скоро я понял: он и "не должен видеть меня", хотя и смотрел в упор.

Се ля ви Зазеркалья! Моя служба хоть и не так часто, но позволяла иногда заглядывать туда, и надежд, что случай с Кириленко не правило, а исключение в жизни его обитателей, не оставалось. Источников проникновения в Зазеркалье у меня было два.

Один случайный – меня иногда брали на ближнюю сталинскую дачу для написания доклада Высокому Лицу, куда Оно наведывалось.

Другой постоянный – это съезды партии, сессии Верховных Советов СССР и РСФСР, съезды писателей и других творческих союзов. Здесь я в течение двадцати лет постоянно работал в редакционной комиссии, которая готовила выступления делегатов к печати.

На работу в РИО меня продолжали привлекать и тогда, когда я уже перешел в издательство "Советский писатель".

После окончания каждого съезда партии, а работал я на XXIV, XXV, XXVI и XXVII съездах, всё Политбюро фотографировалось с нами, редакторами их речей, и затем вручались эти громадные фото, как высочайшие знаки внимания, вместе с месячным окладом и записью благодарности в трудовой книжке.

Вот здесь-то я насмотрелся с близкого расстояния на сильных мира всех рангов, начиная от секретарей обкомов и ЦК и до премьеров и генсеков.

Особое место в этих всесоюзных сборах властей предержавших занимали многодневные шоу - съезды партии. Они всегда были заорганизованны до тошноты. Здесь всё просчитано и выверено партийными клерками всех отделов ЦК. В выступлениях делегатов ни одной живой мысли, ни одного случая нестандартного поведения участников действия, скука и бесполезность возведены в ранг торжества и праздника.

Эти жалкие шоу и были теми "историческими событиями", о которых трубили печать, радио и телевидение. На всех четырёх съездах, о коих я упомянул, в моей редакторской практике произошли всего два или три случая, которые выбивались из унылого, скучного ряда.

Первый случай. Выступление Шолохова, которого привезли в Кремль, выведя из глубочайшего похмелья. Текст его выступления рассматривался в отделе культуры и уже здесь, в Кремле (судя по бумаге и шрифту машинки). Он сильно исправлен рукою Михаила Александровича. Вычеркнуты строки и абзацы. Правка нарушала партийный глянец, но только в ней проглядывал Шолохов! Мне принесли этот текст на редактуру, когда Михаил Александрович закончил своё выступление. По правилам РИО, при редактировании обязательно должен присутствовать автор речи. Исключение только для членов и кандидатов в

Политбюро. Но в этих случаях обязательно являются их помощники.

Шолохов не пришёл в наше РИО, а сразу уехал в гостиницу или в свою московскую квартиру. И связи с ним никакой. Для подготовки речи к печати, в силу этих непредвиденных трудностей, мне дали ещё одного "литреда", кажется, главного редактора журнала "Советские профсоюзы".

Но это не спасло положение. Мы исправили две описки в тексте, расставили недостающие запятые и опустили несколько повторов. Я удержал своего коллегу-напарника от порывов "писать слова взамен "шолоховских", хотя они вроде бы и напрашивались. "Пусть останется, как у него!" - настоял я, и он согласился.

Оба расписались на оригинале и со страхом приложили его к перепечатанному тексту на гербовой бумаге, на каждом листе которой типографское тиснение "Хранить вечно!" Все тексты речей на съездах отправлялись в бронированную комнату архива общего отдела ЦК.

На следующий день в пресс-бюллетене съезда я читал речь Шолохова в том виде, в котором мы сдавали её в печать. Однако в газетах она была опубликована с исправлениями.

Но это уже не на нашей совести.

Случай второй.

Президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров произнёс очень яркую и смелую по тем временам речь. Она попала на редактуру так же мне, но уже на другом съезде. Ещё следя за его выступлением по телевидению в нашем рабочем зале, я делал пометки, где у меня будут наибольшие трудности при редактировании. Всё усугублялось тем, что Анатолий Петрович часто отрывался от текста, вот тогда-то шла "крамола" - критика не ведомств (это допускалось в

речах), а наших правительственных порядков и качества жизни.

Когда принесли оригинал речи, я понял, что по нему работать нельзя. В тексте совсем не то, о чём он говорил с трибуны. Надо ждать стенограмму. Александров, как и Шолохов, не явился в РИО.

И завертелось!

Разыскали его помощника, привезли в Кремль. Из двух текстов начали лепить один. А время идёт! С выпуска летят матюки! Задерживаем печатание стенографического отчёта, выпуск "Правды" и других центральных газет... Скандал!

Уже давно опустел Кремлевский Дворец, а мы всё возимся с речью, стремясь соединить несоединимое. Правду сказанного с ложью написанного...

Где они теперь, эти "исторические речи", произнесенные на съездах партии, в которых вылизывались каждое слово и предложение, сначала в райкомах и обкомах, а затем в отделах ЦК, и те редкие исключения из них, над которыми бились мы, их редакторы, когда они вдруг не укладывались в общепартийное русло. Сгинули, как ненужная макулатура, хотя и печатались на гербовой бумаге и с пугающим вензелем "Хранить вечно!"

Сгинули вместе с несметными тоннами партийных документов, какие закладывались "на вечность", в тартарары, а вместе с ними и весь тот "антураж партийного быта", какой десятилетия выковывался и шлифовался ортодоксальными коммунистами. А то, что сие не зафиксировано в ритуальных партийных документах, да и в светской литературе, обеспечивает ему вечное забвение.

Это и заставляет меня столь подробно свидетельствовать о жизни Верхов. Сами же они ни за какие коврижки не приоткроют закулису своего бытия, то бишь Зазеркалье.

Ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущёв, ни Брежнев, ни все другие, кто пребывал в этом первом ряду, завершая Ельциным, в своих многотомных писаниях ни словом не обмолвились и никогда не обмолвятся о позоре Зазеркалья, куда их вынесли карьера, судьба и течение истории.

Так случилось, что я был свидетелем вознесения некоторых последних правителей нашей страны. Происходило сие всё на тех же съездах-шоу. И хотя всякий раз в этих "взлётах" всё было вроде бы "по-своему", нечто мистически однозначное имело место быть.

Будто какая-то неведомая и непонятная для смертных сила выдерживала этих людей, ещё вчера доступных тебе и другим, и утаскивала на Верх в недоступное Зазеркалье.

Случай первый.

Предпоследний день XXIV съезда партии. Завтра выборы ЦК и заседание пленума, где будет избран Генсек, члены и кандидаты в Политбюро и секретари ЦК.

В кулуарах съезда лёгкий бриз-шепоток: "Кого же изберут "из новых" в "ПБ" и секретари ЦК?" Он доходит и до нашего редакционного зала под самой крышей Большого Кремлёвского дворца, потому что во время перерывов мы вместе с делегатами бродим в вестибюлях, пьём кофе, чай, закусываем в буфетах. Словом, общаемся с Верхами.

Изменения в Политбюро, как правило, всегда происходят на съездах. Исключение – чрезвычайные пленумы, когда меняются первые лица.

И вот, на XXIV съезде в ряду последних выступлений мой черед редактирования падает на речь первого секретаря Красноярского крайкома Владимира Ивановича Долгих. Недавний главный инженер, а затем директор Норильского металлургического комбината,

он новичок в партийных Верхах. Этим я и объясняю его волнение, когда слежу за его речью по ТВ. Ещё бы, впервые выступает на съезде. Но ничего, пообтешется и будет, как все.

Минут через пять после окончания речи инструктор нашего отдела Гришкевич вводит в зал высокого черноволосого человека, непрерывно вытирающего платком пот. Такое бывает редко с понаторевшими ораторами. Иду навстречу.

— Владимир Иванович, я ваш редактор.

Знакомимся. Провожу его к своему столу. На нём бутылки с минеральной и другой водой. Ораторы после речи много пьют. Листаю исчерканные страницы машинописного текста, осьмушки и целые листы вставок от руки. Невероятно!

— Давайте разбираться, — вздыхая, говорю Долгих, а сам думаю: "Ну, подзалетел! Придётся ждать стенограмму и работать по ней. А там "слуховые" ошибки, и без самого оратора в них не разберёшься. И сидеть ему, рабу Божьему, со мною часа полтора".

Как можно деликатнее высказываю эту "перспективу", а он:

— Да, я согласен. У вас тут прохладно, тихо и боржоми холодный...

— Ну, тогда вперёд! — поддерживаю его и берусь за разлохмаченные листы речи.

Владимир Иванович уже отдышался, волнение почти исчезло, и, как только я увязаю в его вставках, он начинает объяснять, "какую мысль хотелось высказать здесь". И тут же виновато:

— Речь готова. У вас в парторганах всё выверено. И вдруг вчера, после вечернего заседания, мне говорят: "Надо поднять её до государственного звучания..." — И понизив голос дё шепота, доверительно добавляет: — Чтобы были всесоюзные проблемы. Ну, вот ночью и началось...

Неопытный в партийных интригах Долгих, видимо, принимает меня за большую шишку, узнав, что я работаю в ЦК. Гляжу в глаза моему собеседнику и пытаюсь узнать, догадывается ли он, зачем всё это ему было сказано? Кажется, знает. Кто-то, видно, из высоких партийных клерков, чтобы на будущее заручиться его благосклонностью, когда Владимир Иванович окажется в ЦК над ним. Явно знает, но нервничает. Ведь всё ещё может повернуться по-другому, потому что итог выдвижения кто-то связал с речью. Хорошо, если партийный клерк. А если там в "ПБ", да ещё Сам? Вот и волнуется выдвиженец, и уже несколько раз нервно спросил: "Ну, как я выступил?"

— Да, нормально.

Но он вопрошающе смотрит. Хочет и боится правды.

— Немного волновались. Но это и хорошо...

— Правда?

Почти два часа мы просидели над речью. На выпуске меня сильно не подгоняли, тоже, видно, понимали серьёзность момента. Да и время было!

Речь на утреннем заседании...

Владимир Иванович соглашался на все предложенные мной поправки, поспешно приговаривая: "Ага, так лучше". Или: "Хорошо, хорошо, вы же знаете, как надо".

На следующий день на заключительном заседании съезда Долгих был избран секретарём ЦК. В его обязанности входило руководство промышленностью страны.

Через год-полтора я встретился с ним на одном из совещаний в ЦК. С коллегой из сектора газет мы подошли к нему в перерыве, чтобы уточнить факты для информации в печать об этом совещании. Владимир Иванович, конечно, не узнал меня.

Подмывало спросить: "А что если напомнить ему о той речи? Но ведь не известно, кому будет больше

неудобства: ему или мне?" И я прогнал эту мысль.

Второй случай.

Он произошёл на следующем, XXV съезде. Среди полутора десятков речей, которые приходится обычно редактировать на каждом съезде, на этом мне досталась и речь ставропольского секретаря Горбачёва. О нём я наслышан от недавно вернувшегося из командировки в этот край моего коллеги из сектора газет Виктора Бакланова. Он рассказывал, как здорово принимали группу работников аппарата ЦК, готовившую на секретариат какой-то вопрос по Ставрополю.

— Знаешь, когда поехали по районам, в каждой лесополосе накрывали столы...

— Удивил, — прервал я его, — да везде так! Я вот недавно вернулся из Узбекистана. Такая же картина. Только там это называется "достарханами".

— Да нет, я тоже бывал в Средней Азии. Но это не то. Тут сам первый секретарь всем руководит. И делает это с комсомольским задором и размахом. Поедешь — узнаешь...

И вот передо мной Горбачёв. Низкорослый, с родимым пятном, разбрызганным по лбу и лысине. Этаким комсомольский живчик. Подвёл его к моему столу наш консультант Леон Оников.

— Знакомься, мой лучший друг, Миша, Михаил Сергеевич. А это твой редактор, Володя...

Мыжимаем руки. Беру его речь, присаживаемся, поддвигаю бутылки с водой. Разгорячённые речью, пьют все, Горбачёв не исключение.

Быстро просматриваю листы. Ни одной помарки. Да и говорил он легко, чётко, будто заученный урок. Только "гакал" по-южному, налегая на "г". Значит, работы над речью почти никакой. Лишь в группе Госкомстата проверить цифры, да уточнить географические и иные названия в бюро проверки.

— Володя, тут всё в ажуре, — нависает надо мной неугомонный Леон. — Можешь не волноваться. На выпуске речь Миши, Михаила Сергеевича, пойдёт через меня.

Он хлопает по плечу сначала меня, а потом Горбачёва. Тот расцветает в улыбке от дружеского касания Леона. У армянина московского разлива Леона О니кова везде друзья, и не просто, а "лучшие"! Его знают все, и он знает всех.

— Ну, я пойду на выпуск! — бросает он нам. — А вы работайте.

Пока Горбачёв пьёт боржоми и оглядывает зал, он явно впервые попал сюда, я для порядка прочитываю речь. Минут через пятнадцать у меня всё готово, но сдавать на машинку, пока не придёт стенограмма, нельзя. А это будет не раньше, чем через полчаса. Чтобы ускорить время прохождения, несу готовую речь бригадиру. Он должен прочесть и поставить свою визу. Подпись оратора и моя уже есть. Ещё нужна от Госкомстата и службы проверки...

В ожидании этих виз и стенограммы завожу разговор с Горбачёвым.

— Объясните мне, пожалуйста, но только попроще, в чём преимущество ипатовского метода сельхозработ? Я сам бывший тракторист, работал и бригадиром и не очень понимаю...

— Да-а? — удивлённо смотрит на меня Горбачев. — А я тоже был комбайнёром. Вы что, старше меня? Когда работали? И где? — "гакает" Горбачёв.

— Немного старше. Работал в войну и после в Сталинграде.

— Ну, вот собирается вся техника в кулак в районе, — начинает Горбачёв, — и перебрасывается в те хозяйства, где раньше созревают хлеба, а весной, где просохли земли... И всей мощью...

А дальше идёт тот же рассказ, о чём говорится в его речи. Очередная лажа, придуманная партфункционерами в Ипатовском районе Ставропольщины. О ней уже шумят газеты, передают по радио, почти так же, как о кукурузе при Хрущёве. Открыта новая панацея, которая вытащит наше горемычное сельское хозяйство из пропасти!

— Да ведь это сколько лишнего горючего нужно? — пытаюсь возразить я. — Чтобы перегонять технику. А поломки? И потом, как колхозам и совхозам вести расчёты за работы? Это же удорожает работы?

— Нет! Всё просчитано и проверено на практике! — горячился Горбачёв. — Вы должны знать, какие потери несут хозяйства при задержке посевов, а особенно при уборке. А у нас на юге, вы же знаете, задержался на неделю, и половина зерна высыпалась...

— Да, знаю... — теряю я интерес к разговору.

— Ну, вот. Мы сначала проверили на одном районе. Потом на нескольких, а в прошлом году по всему краю пошло. И результаты отличные! Теперь краснодарцы, ростовчане, да и ваши волгоградцы у нас перенимают...

Горбачёв "сокрушает" все мои сомнения, а я нутром чувствую, что это очередной самообман, шумиха, которую так любит высокое руководство. Опять заморочат головы людям и прикроют провалы и просчёты в сельском хозяйстве.

У меня последний аргумент. Дело в том, что в центральные сельхозжурналы, а я их курирую в секторе, да и в газеты, уже год идут письма из Ставрополя от доктора наук из Сельхозинститута (сейчас забыл фамилию), которая говорит об абсурдности этого метода. Учёная приводит факты и расчёты вреда этого лженовшества. Но первый секретарь поднял такую хвалебную волну и шумиху, что она попала со своими статьями в клеветники. Уже дана отповедь других учёных в местной печати. Завязалась

обычная свара. И вот теперь пришло коллективное письмо к нам в сектор журналов от учёных Сельхозинститута в защиту "клеветницы".

Залившись краской, Горбачёв прерывает меня и называет фамилию "клеветницы", минутное смущение уже прошло. Он, видимо, не раз отвечал на подобные вопросы.

— Да, она противница ипатовского метода... Но сейчас и она поняла... Куда же против фактов? Я знаю, она писала повсюду. И в ЦК тоже. Но теперь, когда все переходят на наш метод, кажется, угомонилась. Новое – ведь оно всегда в штыки принимается. Диалектика...

Дальше мы уже говорили без всякого интереса друг к другу, пока не появилась стенограмма. Я попросил Михаила Сергеевича подписать её, хотя это было и не обязательно. Пожали руки и разошлись. Впечатление "среднее". Обычный партийный функционер с ещё не остывшим комсомольским задором. Мой коллега, Виктор Бакланов, был прав, когда подчёркивал его "достоинство". А его ипатовский метод, "очередное чудо", в котором нуждается наша жизнь...

В предпоследний день съезда по залу и вестибюлям Дворца загуляли слухи о нововведениях в руководящих партийных органах. Работа в пресс-группе сворачивается. Идут официальные документы и резолюции съезда. Редакторы разделились на компании и гадают, кого же будут избирать. А вернее, кого уже наметили там, в "ПБ", и на кого указал Сам.

Лучше всех расклад сил знают наши консультанты. Они всё время трутся около членов "ПБ" и секретарей, пишут им "бумаги", но те знают "службу" и молчат. Только перешёптываются меж собой.

Уже закончилось вечернее заседание, опустел зал и гулкие вестибюли Дворца съездов, а мы, небольшая группа редакторов и выпускающих, застряли в РИО с речами секретарей зарубежных коммунистических и

рабочих партий. С нами работают консультанты из международного отдела ЦК.

Они не то что мы, не церемонятся с речами своих подопечных (они же и писали их). Безбожно черкают и правят тексты и дивятся нашей робости и нашему трепету перед гербовой бумагой и вензелями "Хранить вечно!" Особенно смело действует Чернавин (он станет помощником при Горбачёве и будет с ним в мнимой блокаде в Форосе, затем напишет его первые книги).

В зал вбегает инструктор Гришкевич (он приводит нам ораторов и держит связь РИО с залом и президиумом). Лицо взволнованное.

— Помощники Брежнева разыскивают ставропольского секретаря Горбачёва! Здесь он не был?

— Да нет. Со вчерашнего дня его здесь не было. — отвечаю я.

— В гостинице его нет, — нервно шепчет мне на ухо. — Может, у московских друзей? Знаешь кого-либо?

— Знаю. Леон самый большой и лучший...

— Твоего Леона с собаками не найдёшь. Где-нибудь с друзьями водку хлещет. — Это уже Гришкевич говорит, озираясь по сторонам. — А кто у Горбачёва земляки? Здесь, в Москве? У них надо искать.

— Фёдор Давыдович Кулаков, член "ПБ", — шутливо отвечаю я.

Но Гришкевичу не до шуток.

— Кулаков тоже Горбачёва ищет... А ещё кто?

— Наш Марат Грамов, — вдруг вспоминаю я. — Он ведь тоже из Ставрополя...

Гришкевич, как ужаленный, резко поворачивается и исчезает.

Только сейчас у меня начинает выстраиваться наш разговор в ту логическую цепь, о которой уже давно догадался мой коллега-белорус. Он - тёртый калач и лучше меня разбирается в движении партийных кадров, потому что прошёл обкомовскую школу в родных краях.

Головокружительный рост по службе инструктора-ставропольца Марата Грамова, конечно, не мог быть случайностью. Из инструкторов в зав. сектором, а затем и в зам. зав. отделом и всего за три года! Его, несомненно, тянула сильная рука. И ею был Кулаков, с которым он работал в ставропольском обкоме. Теперь эта же рука поднимает в партийные высоты другого, лично известного ставропольца Горбачёва.

Эта схема окончательно выстроилась, когда я потом узнал, что Горбачёва избрали секретарём ЦК по сельскому хозяйству. А раньше курировал эти вопросы в Политбюро Кулаков. К тому же, как потом выяснилось, разыскали Горбачёва в тот вечер на праздновании дня рождения у Марата Грамова.

Вот и замкнулся круг. Теперь надо смотреть на восхождение в те же Верхи Марата.

Нас с ним в один год и в один день взяли на работу в отдел. Меня из Академии, а Грамова из обкома, где он был зам. зав. отделом. Мы оба поначалу держались друг друга, не ведая тонкостей и "закавык" новой службы в столице. Но скоро земляческие связи потащили Марата в Высь. А с приходом Горбачёва в секретари, а затем и в Генсеки Марат и вовсе рванул в поднебесье...

Он стал председателем Госкомитета по делам физической культуры и спорта и тут же депутатом Верховного Совета СССР.

Встречаясь с нами, бывшими его коллегами, теперь уже Марат Владимирович благосклонно, иногда снисходительно подавал руку и спрашивал: "Ну, как живёшь?", и, не дожидаясь ответа, сверкнув красной эмалью на золоте значка депутата, озабоченно отходил к поджидавшему его собеседнику с таким же высоким значком на лацкане пиджака.

Эти встречи обычно происходили в Георгиевском зале Кремля во время сессий и съездов, где любили прогуливаться министры.

Где теперь эти госмужи? И где мой коллега Марат, экс-министр, пенсионер? Там же, где и все мы. Но, возможно, не с нашей пенсией в 400 рублей (деревянных). Вот и вся разница...*

А с его и горбачёвским благодетелем Кулаковым, который властной рукой потянул их в Верхи, произошло невероятное. Вдруг Фёдора Давыдовича не стало. "Подвело сердце" на шестидесятом году. Это по официальным сообщениям. Но вот в цековских (и не только) кругах ходили упорные слухи, что он застрелился.

Если это правда, то причина вряд ли будет когда-либо раскрыта. Да и кому это теперь нужно? Я же пишу об этом, чтобы показать ту коросту и гниль, которые к тому времени поразили верхушку партии.

Если при Сталине там шла кровавая свара, то, начиная с Хрущева и особенно с Брежнева, там уже было затхлое болото. Кадровые назначения шли по землячеству и личной преданности. Интриги, подсиживание, выживание сколько-нибудь заметных личностей и замена их покорной бездарью.

Ну, кто такой Кулаков, проработавший тридцать лет секретарем ЦК и из них семь – членом "ПБ"? Говорят, он позволял себе "своё мнение", и именно эта "роскошь" привела его к самоубийству. Версию самоубийства не проясняет и рассказ моего друга Феликса Серавина (тогда инструктора отдела машиностроения ЦК), который был с Кулаковым за несколько часов до смерти на открытии выставки, кажется, сельхозтехники на ВДНХ.

На фуршете после открытия Фёдор Давыдович выпил фужер шампанского и демократично попросил у "высокого собрания" отбыть на дачу к семье. Жаловался, что редко выбирается на дачу. Работы много. А вот сегодня едет к семье.

Выглядел здоровым, но немного уставшим, грустным.

— Грустным, — поправил себя Феликс, — возможно, мне показалось. Это, когда я на следующий день узнал о кончине Кулакова, могло в голову прийти...

Сколько неразгаданных тайн, неожиданных смертей там, на самом Верху кануло в лету? Одному Господу известно.

Чуть позже ходили упорные слухи, что гибель секретаря ЦК Белоруссии, кандидата в члены "ПБ", несговорчивого героя войны Машерова в автомобильной катастрофе была подстроена КГБ. Это подтвердилось тем, что перед этим в него стреляли на охоте, но не попали...

А смерти в кремлёвских больницах, начиная с Фрунзе?.. Слухи, слухи, как мухи...

А что ж ипатовский метод? Как только Горбачёв перебрался в Москву, этот метод тихо, в тот же год благополучно скончался! И о нём даже не охнули!

До восшествия на самую высокую точку партийного Олимпа Горбачёву пришлось преодолевать три ступени-смерти: Брежнева, Андропова и Черненко. И каждый раз он расчётливо приближался к цели. Как говорили наши консультанты, да я видел и сам, когда попадал на подмосковные дачи, где работали над докладами, Михаил Сергеевич на каждой ступени очень верно выбирал ориентир в Политбюро.

После смерти Кулакова был Черненко, достигший необыкновенной силы при Брежневе. Пожалуй, самый бесцветный и примитивный среди партфункционеров, человек без биографии, как говорили в ЦК (он даже не был секретарём обкома, министром, а через это проходила вся партийная элита).

С приходом Брежнева Черненко возглавил общий Отдел ЦК, самое скучное и бюрократическое

подразделение в партийной машине. Оно готовило и хранило документы секретариатов и Политбюро.

Когда Брежнев при Хрущёве возглавлял Верховный Совет, Черненко был у него зав. секретариатом.

И вот, попав в ЦК, этот переключатель бумажек из папки в папку вдруг взмыл! А зачуханный общий отдел, как шутили у нас в аппарате ЦК, стал Всеобщим!.. Бюрократизм и делопроизводство достигли апогея.

Вот с этим человеком и задружил Горбачёв. Тому способствовало ещё и то, что они оба в одно время, в конце семидесятых, вошли в Политбюро. Ловко обложив опекой и заборами больного Брежнева, Черненко достиг такой силы, что и умный Андропов, придя к власти, зная ему цену, не мог потеснить всеильного "К.У." (Константина Устиновича).

Правда, у Андропова было мало времени, и, когда он умер, власть, почти без боя, перешла к Черненко.

Зато, когда сошёл сам "К.У.", борьба разгорелась не на жизнь, а на смерть. В неё ввязались сразу три члена "ПБ": старик Гришин, московский секретарь, и молодые – Горбачёв и Романов, секретарь Ленинградского обкома.

Бездыханное тело Андропова ещё лежало в палате больничного бокса для членов "ПБ" в Кунцево, а в Кремле шли родовые схватки нового Генсека.

Рассказывают, что, когда отпала кандидатура старика Гришина, голоса за "молодых" распределились поровну.

Патовая ситуация продолжалась, пока окончательно не остыл труп почившего в бозе. Разрешил её патриарх "ПБ" Громыко. Он уговорил "стариков" отдать голоса за Горбачёва. (Он сговорился с последним, что займёт пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Однако позже, когда его протеже развалил Союз, он публично горько раскаялся.)

Об этой мышиной возне на самом Верху мне рассказывали цековцы, а я к тому времени уже перешёл на другую работу. Однако связь, хотя и эпизодическую, с Верхами держал, сотрудничая в редакционных комиссиях на съездах партии, писателей и сессиях Верховных Советов.

Вспомнил эпизод вопиющего бездушия и подлости высоких чинов Зазеркалья к разжалованным сотоварищам.

Как-то мы вошли в вестибюль подъезда Большого Кремлёвского Дворца и увидели растерянного, чуть не плачущего Подгорного, недавнего председателя Президиума Верховного Совета и члена Политбюро. Он стоит перед охраной в подъезде с развёрнутым удостоверением депутата. Оказывается, его, Подгорного, не пускают на заседание сессии. Капитан из "девятки" говорит по внутреннему телефону, видимо, со своим начальством, а лейтенант заступил старику дорогу.

— Да, что же вы делаете! — вдруг сорвался старейший из нас, инструктор Пётр Иванович Жилин, начавший службу в ЦК ещё при Сталине. — Он же ещё депутат!

Все мы так дружно поддержали коллегу, что капитан, чуть не выронив трубку, кивнул лейтенанту пропустить Подгорного...

Это было перед утренним заседанием сессии, а на последующих мы уже не видели Подгорного. Сам ли он ушёл или его вывели ретивые мальчишки из девятки?

Однако после этого инцидента я не раз наблюдал такую картину, когда выведенные из Политбюро партфункционеры ещё продолжали принимать участие в заседаниях сессий Верховных Советов СССР и РСФСР депутатами, которыми они оставались и после снятия с партийных постов.

Но это было жалкое и удручающее зрелище. В зале они сидели уже не в президиуме, а среди депутатов от той же области или республики, где избирались. Их сторонились все, кто ещё вчера заискивал и добивался их благосклонности. Особенно шарахались от них члены ЦК, секретари обкомов и министры. Трагикомические сцены вызывали омерзение.

Я наблюдал, как выведенный из Политбюро Романов, вцепившись в человека со звездой Героя Соцтруда, бродил в перерывах между заседаниями по Георгиевскому залу и не отпускал его локоть. Ленинградцы, смущаясь, ответили на мой вопрос: "Это рабочий с "Электросилы". (И назвали фамилию.) Единственный оказался порядочным. Все земляки бегут от него, как от прокажённого..."

В другой раз я видел в такой же ситуации разжалованного своего старого знакомого Кириленко. Зрелище не только жалкое, но и трагическое. Старик-развалина в явном маразме, с двумя золотыми звездами на впалой груди и бронзовым памятником на родине, бродит среди прогуливающихся депутатов по залу Кремлёвского Дворца и старается пожать руки тех, кого он хорошо знает.

Бросается не ко всем, а только к тем, к кому обращается по-партийному на "ты". Но те испуганно сторонятся. А депутаты, которых ему удаётся остановить и взять под руку, жалко озираются, словно просят защиты...

Мне было стыдно и горестно смотреть на эти дикие сцены, но по выработавшейся писательской привычке я заставил себя не отвернуться, чтобы узнать, чем же всё это кончится...

А кончилось тем, что уже к концу перерыва к Андрею Павловичу подошли двое рослых мальчика в штатском, оторвали от него очередную "жертву" с

депутатским значком и стали уже сами водить его в кругу прогуливающих по залу.

Прозвенел звонок, и Кириленко вдруг устремился к входной двери в зал заседаний, с неожиданной прытью потащив за собой мальчиков. Депутаты хлынули к входным дверям и скрыли от меня Андрея Павловича и его сопровождающих...

Эта последняя встреча с некогда вторым человеком в стране, обладавшим почти безграничной властью, была шоком. В следующий перерыв я уже не встретил Кириленко ни в зале заседаний, ни в кулуарах. Не было горемыки и на следующий день работы сессии...

За десять лет службы на Старой площади мне всего один раз пришлось присутствовать на заседании секретариата ЦК. Обсуждалась работа Ярославской парторганизации, а я был в бригаде ЦК, которая её проверяла.

Вёл этот секретариат Кириленко. Какую же силу и мощь излучал тогда этот человек! Она шла от зала заседаний на пятом этаже, куда даже мы, работники аппарата, могли попасть только по разовым пропускам, угнетающая сила шла от огромного стола, где восседал этот низкорослый, тучный человек (а раньше за ним сидели Сталин, Маленков, Хрущёв...). Как трепетно все смотрели на него и, затаив дыхание, ждали его замечаний и реплик по тщательно отрепетированным отчётам выступающих на секретариате.

А этот человек, как царь с трона и Бог с Олимпа, позволял себе и строгий рык, при котором все замирали, и плоскую шутку, от которой нервно оживал зал...

Обо всём этом я думал, когда на следующий день работы сессии ходил по кремлёвским залам "БКД" и высматривал среди депутатов своего старого знакомца. "Всё прах и тлен, прах и тлен! — стучало в голове. — Чем выше взбирается человек по лестнице власти, тем жальчее и трагичнее его падение. Всё прах и тлен..."

5. Александр Твардовский

К сорока годам человек достигает полного расцвета духовных и интеллектуальных сил. В нём ещё не пошла на убыль жизненная энергия, и он полон устремлений.

Это хорошо понимали в руководстве государством. И именно в этом возрасте рекрутировались кадры в аппарат ЦК со всей страны. Расчёт простой. Проработав пять-шесть лет в Москве, эти люди возвращались на места уже на более высокие партийные и советские должности.

С москвичами было сложнее. Они часто засиживались в ЦК, выжидая и высматривая себе места работы потеплее.

Я попал в их когорту. Возвращаться мне было некуда, опыта низовой партийной работы за мною не числилось, и я завис среди "невостребованных" клерков.

Все мои друзья и коллеги по академии, пришедшие, как и я, в отдел пропаганды, оседали в трёх секторах: газет, журналов и издательств. Отсюда было два пути: работа в тех органах печати, которые ты курировал, или выдвижение по цековской лестнице, но это для тех, кто проявлял вкус и рвение к аппаратной работе.

Таких было меньше. Они становились завсекторами и даже завзавами, как мой полный тёзка В.Н. Севрук. Многие уходили в помощники к секретарям ЦК и членам "ПБ". Саша Гаврилов – к Алиеву, помощником по "ПБ", Альберт Власов попал аж в секретариат самого Горбачёва.

В поездках генсека за рубеж я часто видел Альберта по ТВ в свите Горбачёва. Он держался ближе к Раисе Горбачёвой. В руках то её шаль, то цветы, то подарки, какие ей вручали.

Володя Разумов стал помощником у нашего заведующего отделом Тяжелыникова.

С тремя последними коллегами несколько лет просидел в одной комнате, и если бы и я последовал за ними (а такая возможность была), то на ней можно было бы повесить вместо N 419 надпись "Оранжерея помощников".

Какой же ангел-хранитель уберёг меня от этой участи? Их было несколько. Поняв, что мне через год-два не удастся уйти из ЦК, я занялся писательством. К счастью, подошли те самые сорок лет, которые я ещё в молодости определил себе для серьёзной писательской работы.

Проводя восемь часов на службе, я старался не брать никакой работы на дом: ни в будни, ни в выходные дни. А уж отпуск полностью посвящал писательству. Благо, быт был обеспечен: трёхкомнатная квартира (правда, на пятерых), летом жизнь на дачах, а зимой поездки на субботу и воскресенье туда же.

Лет пять ушло на военные повести и рассказы о Сталинграде.

Начальство смотрело на моё писательство, как на самую большую крамолу. И хотя, казалось, чего им до моего свободного времени, но отношение к тому, что у меня выходят книги, самое негативное. Я видел, какая неприязнь вспыхивает на их лицах, даже у друзей, когда они узнают цифру моих партвзносов от гонораров.

Помню, как мой земляк Георгий Лукич Смирнов, о существовании которого я узнал только в ЦК, видя, какие деньги я выложил на стол секретаря, произвольно крикнул и залился краской не то от смущения, не то от злости. А уж он относился ко мне по-доброму.

Каждый понедельник в нашем секторе проходили летучки, на которых мы, четыре инструктора, делали

обзоры закреплённых за нами журналов.

Крепко сбитый, похожий на лобастого бычка, Иван Кириченко восседал за начальственным столом, стараясь выбить из нас доклады о крамольных публикациях. Положительные примеры он воспринимал вполуха с постным и скучающим выражением. Но, как только речь заходила о "жареном", лицо его оживало, фигура напрягалась, и он, как бульдог, хватал добычу мёртвой хваткой.

Лежавший перед ним уродливо большой блокнот радостно подпрыгивал от его записей. Он сыпал вопросы, понуждая докладчика обнажить крамолу до дна. Сразу после летучки Кириченко бежал с блокнотом к начальству, замзаву, курирующему вопросы печати, с вещественными доказательствами – стопкой журналов с закладками. И радостно доносил, что вверенный ему сектор не дремлет, отстаивая "народность и партийность печати" – его любимые слова.

На наших летучках он так и говорил:

— Меня интересует: есть ли в этой публикации партийность и народность? Как выдерживаются основополагающие критерии марксизма-ленинизма?

Примитив рассуждений и явная глупость его вопросов часто ставили нас в тупик. Как же мог столь ограниченный человек выбиться в руководители, да ещё и идеологические?

А всё очень просто! Энергия и напор вывели Ивана на эти высоты. Заочник Казахского университета, редактор молодёжной газеты был взят сначала в ЦК ВЛКСМ, а затем и в ЦК партии. И везде он ревностно и неуклонно проводил "линию партии".

Всё чаще, не выдержав его глупости и убийственного примитива, я дерзил на летучках. И Кириченко начал мстить. Он стал "отбирать" у меня литературно-художественные журналы, "заменяя" их сельскохозяйственными и строительными.

Мой коллега Альберт Власов не выплёскивал своих эмоций, подобно мне, в спорах с начальством и нажил язву желудка. Его отношения с Кириченко накалились до того, что он бросился в ноги своему благодетелю и научному руководителю, тогда ещё кандидату наук (ныне академику) Георгию Арбатову. И тот, пользуясь связями с высоким начальством (он работал в группе консультантов ЦК), выдернул Власова из нашего сектора. И я остался один на один с Иваном.

В эти годы разгоралась борьба двух журналов – "Нового мира" и "Октября". Обозревая их публикации, я старался сохранить объективное и ровное отношение к обоим изданиям, хотя мои симпатии чаще были на стороне "Нового мира".

К тому же отношение к Твардовскому и Кочетову, с которыми мне приходилось общаться как куратору их журналов, было разным...

Здесь я хочу прервать рассказ и обратиться к одной из записей моего дневника, которая, как мне кажется, оттенит то время, а главное, покажет, каким бескомпромиссным и неотёсанным я был в те годы. К тому же я собираюсь рассказывать о Твардовском, а в этой записи мои первые ощущения от встречи.

Итак, осень 1965 года. Я ещё аспирант Академии и через год с небольшим попадаю в сектор журналов, где мои встречи с редакторами, в том числе и Твардовским, обретают служебный характер.

20 октября 1965 года.

Вечер. Только вернулся из Дома литераторов, где отмечали 50-летие С.С. Смирнова – автора нашумевшей книги "Брестская крепость". Впечатление грустное и удручающее. Слишком много елеса и ненужных слов (они всегда на юбилеях, и не в этом дело!), главное – поток неискренности. Речи бесцветные, на трибуне – близкие люди. Лишь два-три человека говорили просто. А затем подходили к юбиляру, жали руку, целовали. Так

сделал молодой художник Илья Глазунов. Он сказал одно предложение: "Мы, молодые художники Москвы, очень любим вас." И подарил картину "Лунная девушка". Удивительное полотно. Синяя с голубизной девушка с продолговатым интеллигентным, думающим лицом. Картина до сих пор в моих глазах – точно боль какая-то.

Открыл вечер генерал Горбатов, автор нашумевших воспоминаний. Краснорожий, с ёжиком белых волос и топорной фигурой и таким же языком. Почти до конца вечера я не знал, кто это, и негодовал. Откуда такой солдафон? Не может связать двух слов. Говорит неуклюже и стандартно. А его фраза: "Мы победили в войне благодаря гениальному руководству" – меня доконала. Сидел понурился голову, опустив глаза...

Даже когда узнал, что это Горбатов, потеплел ненамного, а почему-то сразу подумал: "Значит, его воспоминания писал кто-то из новомировцев. Сам вряд ли мог". Рад буду ошибиться, но, боюсь, это так. Ведь, когда он вёл вечер, то всё время путал фамилии, обливался потом и являл сплошную жалость человека, взявшегося не за своё дело.

Но главный мой рассказ о Твардовском. Увидел его и разволновался, да так, что, возможно, и неприязнь к Горбатову от этого...

Я встречал Александра Трифоновича более десяти лет назад в Сталинграде, во время строительства Волго-Дона или ГЭС. С тех пор мне казалось, что видел я Твардовского и позже (а это – фото, портреты в газетах и журналах!). И в моём сознании оставался всё тот же живой Твардовский, каким он запомнился в Сталинграде.

Но сегодня он был иным. Это уже старый, почти совершенно седой человек с измученным и, наверное, испытанным лицом. Оно у него не стариковское (молодят

глаза!), а лицо потрёпанного актёра, с нездоровой полнотой. И только глаза! Они совсем из другой жизни!

В президиум он выходил в толпе, пятым или шестым, вслед за Жуковым. По крайней мере, сел рядом с ним. Сидел молча, испытывая неудобства от слепящих юпитеров. Но ещё большее неудобство, как мне показалось, от пустых стандартно-льстивых слов ораторов.

Вяло и неохотно хлопал, видимо, боясь выделиться среди других. Раза два невольно усмехнулся, когда юбилейный елей перехлёстывал через край. Но всё его существо и особенно глаза (я сидел близко) говорили: "Ну, зачем же так? Зачем столь неискренне? Зачем врать? Ведь противно же?"

Мне кажется, я понимал его, и это рождало во мне тот же протест: "Всё враньё и ложь. Уймись! Юбиляр, конечно, сделал большое гражданское дело, вернул героев Брестской крепости. Он хороший человек, и поэтому Твардовский пришёл. Но зачем говорить то, чего нет, зачем призывать в свидетели литературу, зачем обзывать его талантливым писателем, драматургом и прочее... Зачем лгать в глаза?"

Минут 20–25 Александр Трифонович сидел в президиуме, борясь с собой, а потом не выдержал. Рядом с ним, ближе к выходу, — заместитель министра культуры Кузнецов, здоровый, быкообразный и крепкий, как свежий пень, детина. Твардовский что-то сказал ему. Тот подобострастно изогнулся и даже вытянул вросшую в плечи шею, но Твардовский попросил пропустить его к выходу.

На лице зама разочарование и начальственное осуждение...

А Твардовский встал и был таков. Я думал, он вышел покурить, а он тут же уехал.

Теперь о Жукове.

Когда он появился в Президиуме, а шёл не в первом ряду, я как-то не сразу понял, что это Жуков, а стал гадать: кто же это с четырьмя звёздами Героя? Покрышкин, Кожедуб? Я никогда не видел Жукова живым, да и не ожидал встретить его в писательской компании. Думаю, и в зале многие испытывали то же, потому что аплодисменты раздались не сразу. А когда они наконец грянули, догадался и я – Жуков!

Перечисляя телеграммы в адрес юбиляра, Горбатов упомянул и имя Жукова, и теперь зал взорвался громовыми аплодисментами, и все встали. Правда, зал поднимался и до этого раза три по другим поводам, но сейчас было видно – люди не забыли своего маршала, о котором многие годы умалчивают официально. Нет, помнят!

Он ещё бодр. У Жукова здоровое и не старое лицо, да и всё в нём ладно скроено и крепко сшито. Держится отменно, победителем. Осанка, выработанная за многие годы ослепительной славы, стала уже его натурой. Голову ставит так, как его рисовали художники, — героически.

Когда сидели рядом Жуков и Твардовский, я неотрывно смотрел то на одного, то на другого. Два совершенно разных человека. Два разных мира...

Вот и всё, что было интересного. Сам юбиляр, Сергей Сергеевич Смирнов, держался хорошо. Ему было трудно. Он то сидел, как подсудимый, на своём почему-то поставленном отдельно от всех кресле, то часто вскакивал, изогнувшись, неловко, как мальчишка, выслушивая юбилейные преувеличения, — его слова. Смущённо кивал головою... Видно, сам-то он понимает, кто он, как писатель. Но ведь и святым кружит головы фимиам.

Но вернусь к тому времени, когда мне уже по роду службы пришлось общаться с главными редакторами

литературных журналов, и в том числе с враждующими "Новым миром" и "Октябрём".

Учитывая мою несдержанность, я не раз попадал меж двух огней. Заносчивый и не терпящий замечаний Кочетов сразу хватался за трубку вертушки (этот кремлёвский телефон стоял только у него в единственном "толстом" литературном журнале) и жаловался высокому начальству.

Как-то приглашаю по телефону Кочетова на очередное совещание в отдел, а он заявляет:

— А чего я пойду к вам? Вы же поддерживаете "Новый мир". Вот Твардовского и приглашайте!

Еле сдерживаясь, говорю:

— Мы уже пригласили и его. А то, что вы отказываетесь, я доложу заведующему отделом...

Пауза, шорох в трубке, а потом всё тот же рассерженный голос:

— Я к тому же ещё болею...

— Чего же вы, Всеволод Анисимович, не бережёте себя. На работу пришли. — И уже успокоенно: — Так вычёркивать вас из списков?

— Ладно. Приду, — бурчит Кочетов.

Подобных стычек никогда не происходило с Твардовским. Придавая особую важность совещаниям в ЦК, начальство обязывало нас "звонить лично" главным редакторам.

Александр Трифонович всегда к приглашениям относился спокойно и сдержанно, хотя и знал, что, возможно, в докладе секретаря ЦК или заведующего отделом будет раскритикован и его журнал. Приходил, поднимался на пятый этаж к круглому залу всего за несколько минут до начала, тогда как большинство главных появлялось здесь задолго и оживлённо общались друг с другом. Твардовский же садился в задних рядах (многие занимали места впереди, перед

глазами начальства) и молча слушал, ничего никогда не записывая и ни с кем не перешёптываясь.

Я всегда наблюдал за его спокойным и, казалось, непроницаемым лицом, куда он никого не допускал. Выслушав доклад, Александр Трифонович редко задерживался, сразу спускался вниз к выходу. У вешалки, где обычно продолжалось шумное общение главных редакторов и обсуждение итогов совещания, он также уходил от разговоров.

Когда, спустя десять лет я уже сам был в числе этих руководителей печати и приходил сюда же на совещания, то понимал, что большая их польза состоит именно в этих общениях до и после совещания. Здесь узнавались все новости, и подтверждались или опровергались слухи о движении кадров на Верху.

Твардовского всё это не интересовало.

В течение года, а возможно, чуть больше, пока Кириченко не начал изымать из моего кураторства литературные журналы, мне несколько раз доводилось встречаться с Александром Трифоновичем и в ЦК, и в редакции журнала, и всегда я видел и ощущал его спокойно-вежливое отношение.

Помню, первые встречи происходили по задержанным Главлитом публикациям. Вёрстки передавались чаще в отдел культуры. Главными в этих разговорах были работники этого отдела: консультант Саша Галанов или инструктор Миша Грибанов. Я же присутствовал здесь как сторона поддержки "требований Верхов" от отдела пропаганды.

Беседы всегда тяжёлые и мучительные. Обе стороны часто понимали, что добиться компромисса (то есть спасти ту или иную публикацию) нельзя, но каждый отстаивал своё. И всё же последнее слово оставалось за недремлющим оком ЦК.

Задержки выхода журнала на месяц-два стали нормой. Кажется, к маю 1968 года (а может, 69-го?)

такая задержка оказалась в три месяца. На первомайские праздники сошлись четыре выходных дня, и мы с Сашей Галановым, забрав всё, что было набрано в гранках на два-три номера в "Новом мире", отправились "на отдых" в один и тот же дачный посёлок, кажется, "Нагорное".

За праздники нам предстояло прочесть не меньше семидесяти печатных листов набора и отобрать материал на один номер.

В гранках были все "непроходимые" романы, повести, рассказы и статьи, которые из месяца в месяц задерживались в Главлите.

Мы перечитали весь перечёркнутый красным и синим карандашом Главлита "запас" "Нового мира" и смогли набрать "проходимого" немногим больше, чем на половину номера.

Когда отправлялись на майский отдых, задание начальства было строгим: "Кровь из носа, а очередной номер выпустить!" "Даже, если его лепить не из чего!"

Последнюю фразу мы уже добавили с Сашей Галановым, когда вышли из кабинетов замзавов наших отделов.

В отделе культуры среди работников низшего звена Галанов был, пожалуй, самый достойный и уважаемый сотрудник, который курировал литературно-художественные издания. Фронтовик, потерявший ногу на войне, относительно смелый и не угодничавший перед высоким начальством, он мог высказывать своё суждение по публикациям, даже если знал, что оно не согласуется с "мнением общественности" (то бишь руководства).

В первый же день после праздников, доложив начальству о нашей "работе", мы пригласили Твардовского в ЦК.

Встреча в отделе культуры. Перебирая гору вёрсток, Саша говорил, почему это (повесть, рассказ, статья) не

может пойти в печать. Я кивал или добавлял какую-то реплику, делал замечание, что должно было выражать согласие моего отдела с мнением отдела культуры.

Твардовский вначале горячился и возражал, предлагая сокращения и исправления. Из разговора было видно, что он не только хорошо знает материал, но и сам его редактировал. Это касалось знаменитых новомировских статей, которые после выхода каждого номера "будоражили общественное мнение" и "дурно влияли на интеллигенцию".

Но скоро Александр Трифонович стал терять интерес к нашим суждениям, явно ожидая конца разговора. Когда Саша завершил его, положив перед Твардовским отобранные материалы, Александр Трифонович вдруг устал и спокойно спросил:

— Всё? — И, не дожидаясь ответа, сердито добавил. — Эх, ребята. Не ведаете, что творите...

Поднялся, молча сунул свою крепкую, пухлую руку сначала Саше, потом мне и резко пошёл к двери.

Галанов поспешно зашкандыбал на своей раненой ноге за ним и нагнал его уже на выходе из здания, где отметил его разовый пропуск.

Насколько я помню, это была его последняя встреча в ЦК по поводу задержанных в Главлите материалов "Нового мира". Теперь сюда приходили только его замы. Сам же он аккуратно являлся только на совещания, молча выслушивал доклады, тяготился, когда слово предоставлялось двум-трём главным редакторам. Это были, как всегда, "Правда", "Известия", "Советская Россия". И, ни с кем не вступая в контакт, молча уходил.

Вспоминается ещё одна встреча в редакции "Нового мира". Мы, кураторы из ЦК, должны были присутствовать на отчётно-выборных собраниях в наиболее значительных и "сложных" изданиях. Я появился минут за двадцать в кабинете редактора.

В творческих коллективах на таких собраниях присутствовали все сотрудники, и только когда начинаются выборы парбюро, некоммунисты покидают зал.

В кабинете у Твардовского его замы: Дементьев, кажется, Лакшин и ответсекретарь Миша Хитров, он только что пришёл в журнал из "Известий".

В дверь врывается поэт Егор Исаев. Делает он свои визиты всегда шумно, напористо, низвергая неостановимый поток слов.

— Трифонович! Написал настоящие стихи. И прямо к тебе. Слушай!

И начинает читать, сотрясая воздух. Александр Трифонович морщится и как-то виновато обводит взглядом всех в кабинете, будто ища защиты. Потом, посуровев лицом, обрывает поэта.

— Егор, ты извини. У нас скоро собрание. И потом, ты же знаешь, настоящие надо глазами читать... Ты оставь...

Недовольный Егор что-то ещё говорит, но Твардовский упрямым жестом холёной руки указывает на край своего стола.

Егор сник, даже опал телом, будто лишился какой-то внутренней опоры, и Твардовский, видно, чтобы укрепить коллегу, потянулся к листкам стихов. Нацепив очки почти на кончик носа, он пробежал глазами первую страницу и, выхватив строфу, прочёл вслух.

— И ты считаешь, что это стихи?

Всё происходило в каком-то неловком натянутом молчании присутствующих в кабинете, и в меня вдруг стал вползать холодок отчуждения к барским жестам и голосу хозяина кабинета и жалости к Егору.

Исаев наконец справился с внезапной растерянностью.

— Ладно, Трифонович... Ты сегодня что-то не в духе. Я заскочу попозже...

Это была последняя встреча в такой близости.

С уходом Альберта Власова из сектора Кириченко, обжёгшись на нас, выпускниках Академии, стал брать работников только из ЦК ВЛКСМ.

Первым пришёл Феликс Овчаренко. Этого весёлого и разбитного паренька, который был всего на три года моложе меня (мальчишкой он выглядел из-за своего низкого роста и круглого, с пухлыми щеками лица), я знал ещё по Свердловску. Там Феликс был редактором молодёжной газеты "На смену". На этом посту он при мне сменил Юрия Серафимовича Мелентьева, которого взяли на работу в ЦК ВЛКСМ, а оттуда в отдел культуры ЦК партии. Мелентьев и выдернул Феликса в Москву.

Кириченко в первый же день передал ему все центральные литературно-художественные журналы. Я после этого зажил спокойнее. Не стало прямых столкновений с Кириченко, хотя жар воинственной неприязни продолжал тлеть. Не знаю с чьей подачи, но меня попытались также выдвинуть на Верх. Однажды пригласил помощник Суслова Воронцов и битый час вкрадчиво, но настойчиво расспрашивал о работе, жизни, интересах и желаниях, напирая на моё писательство. А когда он напрямую спросил: "Не хотел бы я поработать над редактированием серьёзных партийных документов?", я стал мягко отбиваться, объясняя, что я филолог, а тут нужен историк или философ...

Оказывается, в секретариат Суслова нужен был "писарчук", который бы собрал в тома избранного всё, что наговорил в докладах его хозяин.

Но меня устраивало моё положение. Быть рядовым и отвечать только за свою работу - лучше не придумаешь! Та возня с литературными журналами, которая разгоралась всё жёстче, больше меня не касалась. Теперь я наблюдал со стороны. Видимо, через

год, а может быть, больше, Твардовского отстранили от руководства журналом, и начался разгон редакции.

С самого Верха ("ПБ") в наш отдел и отдел культуры была спущена такая "указивка": "Всё делать достойно и тихо. Каждого руководящего работника журнала устроить на новую работу, не снижая в должности и в зарплате." Особая статья у Александра Трифоновича. "Ему решением Политбюро обеспечивалась максимум материальных благ." Твардовского и его семью пожизненно прикрепляли к поликлинике четвёртого управления. А для него персонально учреждалось особое материальное довольствие, так называемая "Кремлёвка" - ежемесячные талоны на получение дефицитных продуктов по сниженным ценам, которыми в ЦК пользовались руководящие работники, начиная с заведующих секторами и консультантов.

"Кремлёвка" была введена ещё Лениным для истощённых голодом работников Совнаркома. С тех пор ею и пользовались руководители государства и обслуживающая их челядь.

Александр Трифонович принял эту монаршию подачку, а его сотоварищи и коллеги по журналу были развеяны по центральным журналам и газетам с сохранением приравненных должностей и зарплат. Лакшин - в замы главного "Иностранной литературы", Дементьев, кажется, в институт, Хитров - в одну из редакций энциклопедий...

Многолетняя борьба чиновников ЦК за выправление идеологической линии журналов отразилась и на самих чиновниках: одни пошли вверх, другие - вниз, третьи - в сторону. Иван Кириченко был отстранён от должности заведующего сектором и переведён замом в "Советскую культуру", а затем возвращён в общий отдел ЦК. Феликс Овчаренко назначен главным редактором журнала "Молодая гвардия" вместо снятого с этого поста Никонова. Саша Галанов отправлен в проректоры

Литинститута. Георгий Кунадин (правда, немного раньше) из замзавов отдела ЦК - в "Правду", а на его место пришёл Юра Мелентьев...

Руководить нашим сектором журналов стал тихий, но хитрющий татарин Наиль Биккенин, консультант нашего же отдела. Он долгие месяцы просиживал на дачах ЦК за написанием докладов для руководства...

Все куда-то двигались, а я, к своему удовольствию и счастью, оставался на месте. С приходом неглупого и спокойного Биккенина моя жизнь и вовсе стала безоблачной и обрела тот первоначальный интерес в работе, который был погашен держимордой Кириченко.

С уходом Овчаренко мне вернули все центральные (периферийные оставались у меня) литературные журналы. И хотя за три года во многих из них поменялись главные редакторы ("Новый мир" - Косолапов, "Октябрь" - Ананьев, "Москва" - Алексеев, "Иностранная литература" - Федоренко), я хорошо знал редакции, и многие в них помнили меня.

Уравновешенный Биккенин по мелочам не придирчив. Он поддерживает самостоятельность в работе. Для него главное, чтобы не было резких поворотов и явных глупостей, словом, полная противоположность бурбону Кириченко. Работать с ним одно удовольствие.

Но надо мной нависает новая беда. Нашего нового начальника по старой памяти надолго отрывают от дел сектора для работы на дачах всё над теми же докладами. И он заставляет меня сидеть на его месте у вертушки, отвечать на звонки начальства и выполнять их срочные поручения.

Меня это ни с какой стороны не устраивает. Я волюню, ухожу в свою комнату, прошу вместо себя посидеть наших новых инструкторов: то Сашу Гаврилова, то Володю Разумова, то и Андрея Сахарова.

Все они пришли в сектор после меня. Биккенин понимает мои манёвры и среди моих новых коллег выбирает себе в негласные замы Сашу Гаврилова, который, как и Феликс Овчаренко, прошёл школу ЦК ВЛКСМ и лучше всех нас знает аппаратную работу, а главное, питает к ней самое трогательное расположение. Я при каждом звонке вертушки вздрагиваю и покрываюсь холодным потом, а Саша Гаврилов, выдержав паузу, царственно поднимает трубку:

— Вас слушают... Нет, Гаврилов...

Саша Гаврилов спас меня. И моя жизнь и работа вновь вошли в ту нишу, которую я сам выбирал и холил.

А Твардовского после ухода из журнала я, к сожалению, увидел только на смертном одре.

Была зима семьдесят первого. Это ещё года за два до прихода в наш сектор Биккенина. Узнал о смерти Александра Трифоновича, когда ещё не появилось официальное правительственное сообщение. Весть пришла из кремлёвской больницы. Нечего говорить о том, каким было настроение... Узнав о дне и часе панихиды, я решил обязательно ехать, хотя она и проходила в рабочее время.

Отпрашиваться у Кириченко (он всё ещё был заведующим сектором) бесполезно. Если и отпустит, обязательно унизит. Поеду не спросившись!

Добираюсь на метро до Арбата и не могу попасть ни на улицу Герцена (ныне вновь Никитская), ни на Воровского (теперь Поварская), куда выходит здание Союза писателей. Всё оцеплено милицией и людьми в штатском. Не пропускают даже писателей по удостоверениям.

Прошёл по Новому Арбату аж до Садового, но и там оцепление. Прорваться к ЦДЛ через дворы также невозможно, в каждом милиция... Панихида по времени

уже началась, а я мечусь. Отчаявшись, достаю цековское удостоверение и показываю майору милиции.

Он смотрит на него удивлённо, явно впервые видит его "живьём" и, смутившись, подзывает человека в штатском. Тот тоже в затруднении.

— Приказано никого не пропускать. А чего же вы не на машине? Ваши, с цековскими номерами, проезжали уже...

— Да я только из командировки сегодня, — вру, — да ещё и не был на работе.

— Ну, ладно, проходите. — И называет мою фамилию и имя-отчество, явно для того, чтобы запомнить, а потом, видно, доложить об этом ЧП на вверенном ему участке. Я помню строгий наказ нашего секретариата: без крайней нужды не предъявлять удостоверения ЦК, но мне сейчас не до этого. Панихида заканчивается, и я бегу...

Пробиваюсь через толпу в зал, завешанный чёрным крепом. Кто-то ещё говорит. По голосу, кажется, Федин. В зале много незнакомых лиц. Тут же высокие чиновники, которых я вижу на совещаниях в ЦК.

Наконец пробился к щели меж вытянутых голов. Открылся угол гроба и гора цветов. Панихида окончена...

Минуты прощания. Вижу, как склонилась могучая фигура над гробом, и по залу пошёл шёпот:

— Со-олже-ни-цын... Со-олже-ни-цын...

Я впервые вижу этого писателя. Он осеняет крестным знаменем и, наклонившись, видимо, целует покойного и что-то шепчет. А по залу опять ропот:

— Кре-е-естит. Крестит ком-му-ни-иста. Кре-естит-ит...

Все покидают зал. Уже дважды прозвучало обращение оставить одних родственников для прощания. А я всё не могу сдвинуться. В голове глупое оправдание. "Я опоздал. Опоздал. Постою ещё..."

Кто-то берёт меня под руку. Это Вася Росляков. Мы с ним приятели. Знаем друг друга давно...

— Пойдём, Володя, на воздух...

Идём молча. Ком у горла.

— Вот и отмаялся наш Трифонович, — роняет Вася.

Я не могу вымолвить ни слова. На улице морозно, ветрено, а люди, выходя из здания ЦДЛ, не спешат надевать шапки.

За оцеплением огромные толпы людей. Они перекрыли улицы. Я это видел, когда пробирался сюда. А сейчас их ещё больше...

Дождался выноса гроба. Наконец, через толпу увидел лицо Твардовского. Смерть пощадила великого поэта. Лицо изменилось мало. Это Александр Трифонович... Наш Трифонович...

Остаток дня провёл в думах о нём. Вспомнил все недолгие и мимолётные встречи. Все разговоры о нём и его слова... Его муки в журнале, мучения в жизни и в литературе...

И не было у меня тогда однозначного вывода, что Твардовский во всём прав, а его оппоненты (можно и жёстче – гонители) во всём неправы. Но я тогда думал не о гонителях, а именно об оппонентах, которые видели в нём великого поэта, но возражали ему, как редактору "Нового мира".

Когда Саша Галанов, запыхавшийся и расстроенный донельзя, вернулся из подъезда, где он догнал Твардовского и отмечал ему пропуск, я сидел и думал над словами Александра Трифоновича: "Не ведаете, что творите".

Мне было так муторно, будто меня прилюдно уличили в воровстве, которого, видит Бог, я не совершал. Так бывает только во сне. Все верят, что ты совершил дурное, а ты его не совершал, а доказать не можешь. Слова вязнут.

И вот тогда запыхавшийся от быстрой ходьбы на изуродованной войной ноге Саша Галанов разразился злой тирадой:

— Он говорит мне... Я не ведаю... А он ведает? Набрал в журнал всяких... Куда они его тянут? Он ведает? Не поймёт, что мы его спасаем. Будет держать возле себя этих Лакшиных, Сацев, Кондратовичей и Дементьевых... Ему никто и ничем не поможет...

Вспомнил этот задушенный крик и не знал, кто же был прав тогда. Знал только, что со смертью Твардовского ушла целая эпоха не только в литературе, но и в общественной жизни. Знал, что Саша искренне стремился помочь Твардовскому, и за это его выставили из ЦК. Выставили, оскорбив, потому что с ним не было соблюдено неписаное правило - переводить из ЦК на другую работу, как минимум сохраняя ту же зарплату и другие блага: поликлинику, ежегодные путёвки в санатории и прочее.

Галанов тяжело переживал несправедливость и скоро умер.

Хотя мои симпатии всегда были на стороне Твардовского, я и сейчас не до конца знаю, был ли во всём прав редактор "Нового мира".

6. Константин Симонов

Весной семьдесят седьмого мне пришлось лежать в одной клинике с Константином Михайловичем Симоновым. До этого я уже был знаком с ним, но так, шапочно, по роду службы. А тут целый месяц в одной больнице, за высоченным забором Четвёртого медицинского управления на Мичуринском проспекте...

Единственной отрадой для нас, ходячих, были прогулки по огромному, но тогда ещё полуголому двору. На этих прогулках мы переговорили о многом. Но, пожалуй, главной темой наших бесед были Сталинград и война. Этому способствовало, кроме нашего общего интереса к Сталинграду, и то, что к нашим разговорам подключался и третий "сталинградец", маршал Василий Иванович Чуйков. Он лечился здесь же.

Правда, ему реже разрешали покидать палату, но когда это случалось и он выходил, то искал нас, видно, по той же причине, что и мы его.

Прославленному военачальнику, знаменитому писателю и просто подростку в те годы, в которые мы знали сталинградские события с разных сторон, было что вспомнить и о чём поговорить. А главное – в этих беседах, как мне казалось, была у каждого возможность сопоставления взглядов на одни и те же события с трёх совершенно разных точек и уровней видения.

Когда мы уже переговорили о многом с Симоновым, я лучше узнал его общительный и располагающий к себе характер, лишённый чванства и самодовольства некоторых моих знаменитых коллег, живых классиков советской литературы. Я осмелел и стал смешливо рассказывать Константину Михайловичу о нашем

бригадном "приключении" с его знаменитым "Жди меня". Симонов, на удивление, слушал внимательно и несколькими вопросами повернул рассказ в серьёзное русло.

Я тогда рассказал писателю, что весной сорок третьего я впервые по радио услышал стихи Симонова. Было это вечером в тракторной бригаде, когда наш выздоравливающий ранобольной механик Мартынок исправил трофейный радиоприёмник, и мы слушали концерт по заявкам.

Меня так потрясло стихотворение "Жди меня", что я вышел из землянки и стал под гармонь наигрывать песню. Двухлетнее обращение с гармонью и придумывание припевок придавали смелости. Но здесь особый случай. Мне хотелось вложить в песню то, что я только сейчас услышал.

Стихотворение длинное, и удалось запомнить немного. Спасал рефрен:

Жди меня и я вернусь,
Только очень жди!
Жди, когда...

А дальше я уже придумывал свои слова. Стихотворение – письмо солдата с фронта своей жене. Но я почему-то подумал, что оно пишется из госпиталя умирающим... На следующий день, к вечеру после ужина, возле Олиного (наша кашеварка) котла я уже пел песню.

Эффект был поразительным. Все в бригаде, не только мои сверстники-подростки, но и взрослые – бригадир, кашеварка, Мартынок, старик-водовоз и другие – слушали со слезами. Я натолкал в неё столько жалостливых, слов, что чуть сам не_разрыдался. Надо не забывать, что шла война. У многих уже погибли отцы

и братья, а те, у кого ещё воевали родственники, жили в постоянном страхе получить с фронта похоронку.

В первые вечера меня по несколько раз просили петь эту песню. Мотив сложился грустный и душещипательный. Он шёл от слов, которые лились из уст умирающего в госпитале. Боец диктует медсестре письмо жене и детям.

И хотя текст песни от исполнения к исполнению менялся, сюжет оставался неизменным.

Помню в песне такую строчку: "Если будешь сильно ждать, смерть отступит от меня..."

Те, кто хотел её петь, из-за постоянной смены слов не могли подстроиться под гармонь. И они вторили только симоновский рефрен.

Жди меня и я вернусь,
Только очень жди...

Его я не менял. В нём цемент песни. А дальше шли мои варианты.

Жди, когда снега метут,
Когда дождь идёт,
Тех, кого дома не ждут,
Те и не придут...

Подобные горе-стихи я лепил с ходу, "от фонаря".

И только Оля не стерпела моего самоуправства.

— Ты, Володька, брось свои выдумки! — строго отрезала она. — А спиши мне все слова. И чтоб было про детей-сирот.

Двадцатитрёхлетняя вдова погибшего в самом начале войны солдата, у которой росла трёхлетняя

Машенька, любимица всей бригады, не намерена была шутить. Видя мою ухмылку, Оля жёстко добавила:

— Слышь, спиши! И мы будем петь все вместе, а не один ты...

И сунула мне в руки химический карандаш и листок бумаги. Отказать Оле невозможно. Иначе в следующий вечер, когда мы выстроимся у её котла с кашей, единственным в сутки горячим приварком, она отвалит половником такую меру в котелок, что и ночь не уснёшь, и день промотаешься голодным. Помню, когда Оля пела куплет о детях-сиротах, у неё всегда блестели слёзы. Хотя слова были и примитивные, что-то, мне помнится, вроде этих:

А ещё, жена, обними детей,
И скажи кровинушкам,
Принял смерть я за них,
За любимейших...

Сейчас не помню, в "каких красках" рассказывал эту историю Константину Михайловичу. Думаю, не так подробно, и, конечно, не приводил горе-стихов, на которые решился теперь лишь для читателей-внуков.

Выслушав мой рассказ, Симонов всё с той же серьёзностью заметил:

— Знаете, а это и было письмо с фронта жене. — И тут же недоуменно: — А почему весна сорок третьего? Ведь оно написано в сорок первом!

— Я впервые услышал его только после Сталинграда. У нас же тогда ни газет, ни книг...

Константин Михайлович сдержанно, но, как мне показалось, с тем же недоумением пожал худыми, высушенными болезнью плечами и продолжал:

— На эти стихи многие писали музыку. И знаменитые композиторы в том числе. А вот песни, как

на сурковскую "Землянку", не получилось. Видно, в самих стихах что-то не песенное...

— Да нет, — возразил я, — мы всей бригадой пели.

— Ну, так вы, — отступив от меня на шаг, наконец улыбнулся он, — вы же переделали... Препарировали под народ...

— А всё равно в народ не пошла, — засмеялся я.

А теперь обещанная запись из дневника.

28 апреля 1977 г.

Загородная больница в Герцено. Это около знаменитой Кубинки. Здесь я на реабилитации. Места райские. Москва-река. Гигантские лиственницы и сосны. Красивейшие луга. По берегу стоят лётчики и ловят плотву.

Как-то гуляли втроём. Симонов ушёл на процедуры, и я спросил у Чуйкова, почему Константин Михайлович так скудно рассказывает о Сталинграде.

— А что ему рассказывать? Он ведь был там всего раз. Да и то несколько часов...

И Василий Иванович поведал такую историю.

"Звонит мне Андрей Иванович Еременко из Ям - это село на левом берегу Волги, где находился штаб Сталинградского фронта, просит принять гостя. И, конечно, обеспечить сохранность. Переправа у нас только ночью на катерах и лодках. Дал команду. Приготовили ужин. Ребята настреляли казар. Как раз летела через Волгу казара - это чёрные гуси...

Выяснилось - едет к нам Симонов. Переправили его часа через два, как стемнело. Гость серьёзный. В любимчиках у Самого. И тут, конечно, только надо обеспечивать. Но мои ребята постарались. Провели его, где можно было, по позициям. Побеседовал он с кем надо. Мужик он не робкий. Даже сдерживать пришлось...

Ужин. Жаркое. Водки выпили. И к рассвету переправили его тем же порядком на левый берег..."

Спросил у Василия Ивановича, как он оценил тогда симоновские "Дни и ночи". Он сказал, что "нормально". Правда, прочитать удалось не сразу. И ещё: "Ну, это же художественное сочинение".

Симонов больше говорил о делах сегодняшнего дня. Рассказал, что пишет одну из Лопатинских повестей.

— Сейчас сидел, вижу, какая-то муть идёт. Взял и начал диктовать. Знаете, пишу об этой войне глазами корреспондента. Всё как-то и через что-то. А вот заглянул в те записи, которые мне наговорили кавалеры Славы. Это я для телевидения делал. И вижу, что там такой материал, прямо горячий, оттуда... И всё своими глазами, без посредника...

Вот оттуда и хочу взять, прямо из их солдатской шкуры... Это будет всё настоящее...

Потом мы говорили о том, что многие фронтовики не получают в жизни заслуженного. Добиваются с огромным трудом пенсий, квартир и других льгот. Я сказал о своих письмах от фронтовиков, какие мне приходят по книге "Страницы памяти".

— Да, да, — подхватил Константин Михайлович. — Я думаю даже записку об этом написать к вам в ЦК. Надо всех, кого демобилизовали в сорок пятом (а это те, у кого было два-три ранения), уже сейчас отправлять на пенсию, если она не вышла. Они же больные...

В другой раз разговорились об одном из помощников Сулова - Воронцове. О его книге - сборнике крылатых фраз, на которую появились хвалебные рецензии во всех органах печати. Книга к тому же сразу была переиздана. Симонов особо возмутился предисловием Михалкова.

— Я ему обязательно скажу, ну, зачем же уж так выворачиваться наизнанку? Ну, что у тебя, Серёжа, нечего есть? Вообще, этот Воронцов - мрачная личность. Если обо всех его художествах рассказать хозяину, то, я думаю, он бы понял...

И Симонов начал говорить о том, как хотели снести в своё время домик, где жил Маяковский. Это на Лубянке.

— Я писал к вам. Домик не снесли... Оставили.

Рассказал, что посылал письма в ЦК и по другим поводам. Мне они показались не очень важными, и я заметил: "Ох, если бы это были самые большие проблемы нашей сегодняшней жизни..."

Он согласился. Но сказал, что и это очень важно.

И ещё:

Я у Василия Ивановича спросил: правда, что скульптор Вучетич лепил скульптуру бойца с гранатой на Мамаевом кургане с него?

— Да, — кивнул он, — голову и торс — с меня...

Я сказал, что многим воевавшим в Сталинграде не очень нравится мемориал. Слишком помпезно. Да и курган стал другим.

Чуйков долго молчал, а потом:

— Слишком много людей полегло... И мемориал нужен был. Вучетич сделал его таким... Я тоже туда, к моим ребятам попрошусь...*

Через два года я уже работал директором издательства "Советский писатель". Встретились мы в Союзе писателей как старые знакомые. Симонов высказал одобрение моему переходу: "Ну, чего вам там штаны протирать? Здесь большое и интересное дело".

Стоявший рядом Вадим Кожевников, не скрывая подхалимажа, заметил:

— Но мы, редакторы журналов, потеряли своего куратора и защитника.

И начал расхваливать. Мне было неудобно слушать, и я перевёл разговор на другое. Спросил у Симонова о здоровье.

— Да скриплю пока... Нормально...

Но выглядел он неважно. Такой же худой. Почернел и как-то ссохся ещё больше. Отвёл меня в сторонку и

начал говорить, что в издательстве "не всё в порядке", "надо многое менять".

Я слушал настороженно, соглашаясь, кивал:

— Мне об этом многие сейчас говорят.

— Не всех слушайте. Этих генералов— чиновников, — и он кивнул в сторону Кожевникова и рабочих секретарей, с какими тот говорил, — через одного. Вам с писателями крепче надо...

Последней его фразой было: "Ничего, мы ещё с вами поработаем".

Мне она не понравилась. И я как-то холодно попрощался.

Позже были другие встречи. Но все - случайные. Звонил в издательство редко. Прислал несколько писем. Деловые просьбы об изданиях в "Библиотеке поэта" и чьих-то книг...

Последняя встреча тоже случайная. Кажется, в болгарском (а может, в югославском) посольстве, где Константину Михайловичу было поручено от Союза писателей поздравить посла и его народ с национальным праздником. Он сделал это элегантно и достойно. Говорил хорошо, остроумно.

Когда закончилась официальная часть, мы оказались рядом у стола с закусками и выпивкой. Константин Михайлович не притронулся к ним, держал в руках фужер с боржомом и чокался им с подходившими к нему гостями посольства.

Разговор, начатый Симоновым, всё время прерывался, и он никак не мог докончить рассказ о художнике-фронтовике, который написал талантливую повесть о войне и которая будет печататься в "Дружбе народов" с его предисловием.

— Вы обратите внимание в издательстве на него...

Видно, Симонов хотел назвать фамилию фронтовика, но к нему опять кто-то подошёл, и он, виновато улыбнувшись, отступил на шаг. Я уже давно

приметил его привычку делать это движение перед заинтересовавшим его собеседником, будто он хочет сразу осмотреть всего человека с ног до головы.

Беседа затянулась, и я отошёл, сразу попав в шумную компанию пьющих и закусывающих, где здоровый человек чувствует себя свободнее и веселее.

То, что именитые писатели просят директора за какой-то талант, который не может пробиться в издательские планы, было неизбежным. Но Симонов с такими просьбами обращался чрезвычайно редко и никогда не делал этого на бегу, как многие, а присылал, как я уже упомянул, обстоятельные, аргументированные письма. Несколько таких писем хранилось в архиве бывшего "Советского писателя" и с опубликованием одного из них произошла такая история...

Но сейчас я доскажу о нашей встрече в посольстве. Отойдя, я наблюдал за Константином Михайловичем.

Он ещё больше похудел, чем был тогда в больнице. Только началась осень, на дворе ещё тепло, а он одет в тёплый свитер под пиджаком. По опыту больничного общения я подразумевал, что на нем не один этот тёплый свитер, а под ним и другая тёплая одежда.

Как-то тогда зашёл к нему в палату перед прогулкой. Была весна, и вот так же тепло, а Константин Михайлович натягивал на себя два свитера. Извиняюще улыбаясь, он сказал, что "закутывается, как капуста, чтобы хоть немного быть похожим на человека".

Сейчас же Симонов выглядел много хуже того, больничного. Морщинистая шея стала по-птичьей тонкой, исхудавшее почерневшее лицо и лишь симоновские глаза. В них ещё теплилась жизнь...

Я скорее чувствовал в своём отдалении, чем слышал, как Симонов мужественно отшучивался от

домоганий о его здоровье. Ещё по больнице знал, как он не любит разговоров о его персоне.

Тогда же из наших бесед сложилось впечатление, что Симонов своими протестами, конфронтацией с высокими чиновниками как бы замаливает свои грехи молодости, когда он слишком ревностно выполнял волю и линию высоких партийных инстанций.

По роду службы мне доводилось читать стенограммы секретариатов Союза писателей, где громили диссидентов и отступников, и выступления Симонова были отнюдь не в их защиту.

В конце жизни он будто бы каялся за свой конформизм и те уступки чиновникам от литературы, когда был главным редактором "Литературки", а затем и "Нового мира".

Когда я пришёл в "Советский писатель", то в сейфе моего предшественника среди других бумаг обнаружил и стенограмму заседания редколлегии "Библиотеки поэта", где решилась судьба однотомника Твардовского, уже приготовленного к выпуску. Из тома "Большой серии" нужно было исключить поэму "Тёркин на том свете".

Время было брежневское, а разрешал печатать и ставить в театре поэму Хрущёв, Твардовский был в немилости. И партийные чиновники, отвечающие за культуру и искусство, "чистили крамольное наследие" поэта.

Делалось это, естественно, руками самих писателей. Судя по стенограмме, именно Симонову была поручена акция по изъятию поэмы из готового однотомника, и он её выполнил блестяще.

При поддержке Грибачёва и Суркова Симонов несколькими выступлениями о "целесообразности изъятия поэмы" сломал сопротивление большинства членов редколлегии.

Читая стенограмму, нельзя было не подивиться изобретательности и находчивости в защите неправого дела. Симонов исполнял поручение с присущим ему талантом.

Об этом, видимо, хорошо знали в ЦК партии, и поэтому именно ему поручались самые важные и ответственные акции. И среди них собрание ленинградских писателей по обсуждению постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград", обсуждение известного романа Дудинцева "Не хлебом единым" в МГУ и ряд других разгромных акций усмирения.

Обо всём этом я думал, когда наблюдал за совсем другим Симоновым на приёме в посольстве.

Время – великий целитель. И как хорошо, что оно даёт возможность людям исправлять свои ошибки и заблуждения!

Одного оно не в силах вернуть – прожитые годы...

Симонов, так и не отбившись от своих почитателей, подошёл к нашей возбуждённой добротными винами и коньяком компании.

— Так вот, — начал он с той прерванной фразы, — зовут его Вячеслав Кондратьев. А повесть называется "Сашка". Крепкая вещь. Сами увидите.

Я по журналистской привычке достал записную книжку и черкнул: "Симонов – Кондратьев, "Сашка". Эта запись сохранилась у меня. И я помню, что при самых благих моих намерениях она сослужила Кондратьеву межвежью услугу. Но об этом чуть позже.

Окружившие Симонова люди опять оттеснили его, но он, по свойственной деликатности, лишь пожал плечами. Наконец, к ним присоединились и хозяева приёма. Я понял, что Константина Михайловича просят прочесть что-нибудь из военных стихов.

Симонов согласился и спросил:

— Что прочесть?

— Что пожелаете. На ваш выбор!
— Константин Михайлович, — неожиданно для себя выкрикнул я, — если можно, "Жди меня!"
— А-а-а, — повернулся в мою сторону Симонов и, заговорщически подмигнув, сказал:
— Прочту, прочту...
Посуровев лицом, начал глухим, с характерной картавинкой.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

А меня стало относить в мой Сталинград...
Очнулся, когда закончилось чтение. Во мне ещё звучала заключительная строка.

...Ожиданием своим ты спасла меня...

Это было последнее стихотворение Симонова, которое я слушал в его исполнении. Летом будущего года его не стало. Печальная весть пришла в Дубалты, где мы отдыхали. Я услышал её от Долматовского в столовой Дома творчества...

Евгений Аронович на следующий день улетел в Москву на похороны.

Вернувшись, он сказал:

— Похоронили Костю.

И молчал до самого вечера. Мы сидели за одним столом с Долматовскими и за ужином помянули водкой Симонова.

А с Вячеславом Кондратьевым произошло следующее. Я прочёл в журнале его повесть, она очень понравилась. Вскоре он появился в издательстве.

— Есть ли у вас ещё что-нибудь, кроме "Сашки"? — спросил я.

Он ответил, что есть, а сейчас пишет новую вещь.

— Тогда готовьте нам книгу.

— А договор?

— Можем заключить сейчас же, листов на пятнадцать. Ведь в "Сашке" листов шесть.

— Да, но это первая моя книга, а мне уже...

Сошлись, кажется, на восемнадцать листах, и ошастливленный автор ушёл из издательства с договором. Такое, в силу вечных наших финансовых затруднений, случилось не часто.

Однако прохождение даже талантливых книг, не только в "Совписе", в те годы было делом не скорым. Ведь никто из писателей не уступит тебе место в плане. И хотя, как "заинтересованное лицо", я предпринял усилия, книга Кондратьева "проходила" около двух лет. Срок, по нашим нормам, небольшой. Но тут иная ситуация. Я разрешил превысить объём издания, неосторожно сказав автору царскую фразу всех издателей:

— Сколько выдержит переплёт, столько и издадим.

Кондратьев, видимо, выскреб всё, что у него было написано, и получилась книга объёмом более тридцати листов!

"Откуда? — возмущались в издательстве. — Повесть "Сашка" - всего шесть листов! А тут к ней ещё тридцать".

Но я уже не отступил. Вышел пухлый том, где отличная повесть и несколько крепких рассказов потонули в массе проходных, слабых вещей...

И ещё, чтобы завершить рассказ о Симонове, упомяну о другом, неприглядном для меня, эпизоде.

Он произошёл через несколько лет после кончины писателя. Но был связан с изданием его книги.

"Советский писатель" - издательство новинок современной литературы. Из более чем 500 ежегодно выпускаемых названий три четверти - новинки, а остальные - переиздания наших же книг, получивших признание. Однако к сорокалетию окончания войны мы решили переиздать сразу сорок лучших военных романов и повестей.

Среди них были и три книги "Живых и мёртвых" Симонова. Трилогия благополучно вышла к юбилею в числе сорока других книг о войне.

Летом я со спокойной душой ушёл в отпуск. А когда вернулся, узнал, что симоновские три тома подготовлены к новому переизданию "по производственной необходимости". Такое случалось из-за задержек вёрсток в Главлите. Но делали это крайне редко, потому что повторные выпуски отодвигали издание наших плановых книг и сокращали и без того всегда малый резерв. А тут вытесняется из редакционного плана сразу три книги!

Я отменил распоряжение главного редактора. Последовало несколько звонков из Союза писателей и Госкомиздата. Я объяснял и стоял на своём.

И тогда ко мне явилась делегация. Наш издательский юрист Келлерман, работавший долго у Симонова да и теперь представляющий интересы его наследников, привёл с собою критика и биографа Симонова, Лазарева (Шинделя), и дочь Константина Михайловича. Её я видел впервые и попытался объяснить причину своего решения. И Лазарев, и Келлерман отлично понимали мою правоту, и они только просили, а наследница требовала.

Я категорически отказал, объяснив, что это двадцать какое-то издание трилогии не прибавит славы Константину Михайловичу, а у нас оно выбьет книги трёх писателей.

И тут наследница взорвалась. Она стала говорить нелестные слова об издаваемых нами книгах и писателях.

— Да они все не стоят и мизинца моего отца, Симонова! — А потом повернулась ко мне и закричала: — А вы, вы? — Лицо её задрожало, в глазах слёзы...

Мне стало жалко эту женщину. Я поднялся, зная, что может наговорить разгневанная дочь. Поднялись Лазарев и Келлерман, и наследница, задохнувшись от обиды, убежала из кабинета...

Мы постояли, обменялись какими-то ненужными фразами и разошлись.

Я пожалел о том, что сказал дочери о славе её отца и его изданиях... Но слово не воробей... Однако не раскаялся в том, что отменил повторное издание. Ведь мы же только что издали три книги тиражом 200 тысяч! Но разве это довод для дочери Симонова?

А закончилась эта история совсем смешно. За день до прихода ходатаев мне позвонили из "Литературки" и сообщили, что у них в следующем номере идёт подборка писем Симонова из подготовленного очередного тома его собрания сочинений.

— Там есть письмо, адресованное лично вам. Вы не против его публикации?

В письме речь шла в основном об издательских делах, и я ответил, что не возражаю.

В очередном номере "Литгазеты" этой подборки писем не оказалось. Она появилась через два или три номера. Но в ней уже не было письма, о котором звонили.

История не только развеселила, но и успокоила меня. Она сняла с души тот недобрый осадок, который остался от встречи с ходатаями за повторное переиздание Симонова.

7. Яковлев, Шеварднадзе и другие

Исполняя обязанности заведующего отделом пропаганды, А.Н. Яковлев манипулировал печатью и телевидением смело и размахисто. Думаю, он лишь вполуха прислушивался к голосу главного идеолога Суслова, который тогда переключился на международные идеологические проблемы, главным образом, дела стран народной демократии.

Яковлев наводил свой порядок в кадрах СМИ, начав с перестановок руководителей секторов своего отдела, и уже через них намеревался действовать и дальше.

Из сектора газет отправил Виктора Власова в помощники предсовмина Тихонову. А на его место поставил своего приятеля Ивана Зубкова, занимавшегося до этого в отделе делами спорта. На сектор ТВ и радио выдвинул известного болтуна и льстеца Оганова.

Из нашего сектора убрал дурака и держиморду Ивана Кириченко (только потому, что "уж слишком дурак" - его слова) и привёл хитрого и умного Наиля Биккенина. Заведующего сектором издательств Чхиквишвили отправил замом председателя в Госкомиздат, а на его место "чего изволите" - Ивана Сеничкина.

Владимира Севрука и Марата Грамова - сделал замзавами (но это уже с помощью членов ПБ), обеспечив себе и отсюда прикрытие.

Яковлев привёл к руководству средствами массовой информации прожжённых политиканов, людей беспринципных, хотя и неглупых. Эти "мальчики", как он их называл, могли выполнить любую директиву,

исполнить всё, что им прикажет "хромой барин, то бишь дьявол", сохранив при этом видимое приличие.

Только вот самого Яковлева никак не утверждали в должности заведующего отделом. Он уже переходил в "вечные и.о.". Видно, был в ПБ некто, кто "переворачивал папку" с его личным делом.

Рассказывали, что в Политбюро существовало правило: если кто-то из членов не ставил визу на документе о назначении, папка "переворачивалась", то есть возвращалась в общий отдел.

И вот Александр Николаевич, видимо, получив очередной "переворот", решил идти ва-банк. Ему надо наконец громко на всю страну заявить о себе. И он пишет печально знаменитую статью в "Литературке" о вредных тенденциях неорусофильства в советской печати, определив крамолу в заголовке как "антиисторизм". А факты для этой статьи ему поставляют его выдвигенцы.

Статья, действительно, наделала немало шума. Как же, бдящим идеологом страны открыта и разоблачена новая крамола!

Первую неделю чаша весов колебалась. Было такое ощущение, по крайней мере у работников отдела, что Яковлев попал в точку, и теперь его карьера рванёт вверх. Так думала и эстетствующая интеллигенция, голоса которой уже раздавались в поддержку этой статьи.

Но нашлись и такие, кто резко восстал. Это крыло русских патриотов во главе с ленинградским учёным-филологом Выходцевым. Они прислали в ЦК протестующее письмо. Однако мало ли какие письма пишутся в этот адрес! Яковлеву ничего не стоило организовать другие (а может, он уже и успел) через своих "мальчиков", которые и камня на камне не оставили бы от протеста какого-то Выходцева.

Всё дело, какие письма будут востребованы там, на Верху? Востребовано было письмо Выходцева. И, думаю, как раз тем, кто переворачивал папку с личным делом Яковлева. Возможно, им был сам серый кардинал – Суслов. Могло случиться так, что его уже давно настораживала чрезмерная активность Яковлева. Маг закулисных дел не любил шума, и он скovyрнул Яковлева, как засохший прыщ...

Но это всего лишь предположение. Таким человеком мог быть кто-то другой из партийных бонз – Громыко, Черненко... Однако уверен, что всё произошло без вмешательства Брежнева. Ему, конечно, доложили перед заседанием ПБ. Но в поле его зрения таких, как Яковлев, десятки, и он не стал ломать подготовленное этим кем-то решение...

Помню, часов в семь вечера спустился вниз, к вешалке и собирался домой. И в это время мимо офицеров охраны в нашем подъезде N 10 необычно резко прохромал Яковлев. Никого не замечая и ни с кем не здороваясь, он устремился к лифту. Бульдожье лицо закаменело, глаза невидящие...

Внизу нас было трое или четверо. Все одевались.

— Это чё с нашим начальством? — обратился я к Виктору Бакланову из сектора газет.

Сегодня был четверг, и мы знали, что Яковлев возвращается с заседания Политбюро.

— Получил очередное "ЦУ-вливание". И завтра будет раскрутка нам. Мы, конечно, и предположить не могли, что произошло на Политбюро.

А назавтра, придя на службу, узнали, что наше начальство снято с работы и уже находится в больнице... Отдел замер... Что последует дальше?

Все понимали, что болезнь "дипломатическая": так поступают многие, но большинство залегают в "Кремлевку" до катастрофы. А Яковлев не рассчитал. Видно, не думал, что так обернётся, хотя уж он-то, с его

нюхом гончей и кошачьей изворотливостью, мог бы просчитать...

Однако, Александр Николаевич не был самим собой, если бы не выпутался и из этой передрыги. Наблюдая его в течение нескольких лет с близкого расстояния, я был уверен в этом. Так оно и вышло. Он лежал в больнице ровно столько, пока не осуществился его новый и теперь уже безошибочный расчёт.

"Его судьбу может решить только сам Брежнев. Ему-то он и вручает её". С этой мыслью кто-то из друзей Яковлева и пробился к сердобольному Генсеку.

За время "болезни" они же, друзья, подготовили и достойное место в англоязычной стране, учитывая знание языка больным-страдальцем...

Брежнева так разжалобили, что он сам "лично" позвонил Яковлеву в больницу, пожелал скорейшего выздоровления и сообщил, что его ждёт место посла в Канаде.

— А как же ныне работающий... — было заикнулся Яковлев.

— Пока ты будешь стажироваться в МИДе, место освободится, — успокоил Брежнев. — Главное поправляйся...

— Да я...

— Ну, вот. И выходи...

Приблизительно в таких красках доверительно рассказывали об этом разговоре наши всезнающие консультанты, якобы со слов самого Яковлева. Вполне допускаю, что так оно и было, потому что весть "Звонил Брежнев в больницу Яковлеву" разнеслась по отделу мгновенно. В ней, конечно, был заинтересован воспрянувший из нетей хромой дьявол. "Ещё бы! Сам Брежнев озабочен!"

Перед самым отъездом в Канаду Яковлев навестил отдел. Обязанности зава исполнял Георгий Лукич Смирнов. Все выдвигенцы Яковлева на своих местах, и

он зашёл попрощаться. Гроза миновала. Все довольны. Правда, теперь им не до Яковлева. Он надолго выпадает из сферы их интересов. Нужно охаживать и ублажать новое начальство. Оно хоть и и.о., но вдруг?

А с Яковлевым что ж? Дружеские пожелания на стезе дипломатии...

Сам же Александр Николаевич доволен. Из прощальной беседы с друзьями-выдвиженцами: "Страна хорошая, спокойная. Правда, не США, не бастион воинствующего империализма, разоблачению идеологии которого он посвятил все свои научные труды. Однако, рядом. И теперь можно подрывать стены бастиона зла... Очередная научная монография уже пишется..."

В коридоре, заметив нас, младших клерков, Александр Николаевич пожимает нам на прощание руки и говорит что-то насчёт "идеологического пороха, который нужно держать сухим".

Однако бывший наш начальник - отрезанный ломоть. У нас свои заботы. Кто придёт на его место? Умеющие держать нос по ветру его выдвиженцы Зубков, Оганов, Биккенин, Севрук зачастили к Смирнову. Правда, появился новый замзав, из Ленинграда, бывший секретарь горкома Вадим Медведев. Он, как и Смирнов, уже успел защитить докторскую, экономист. Однако Смирнов-философ вроде бы более подходит для отдела пропаганды. Вот и мечутся, вот и нервничают "яковлевские мальчишки", кому же отдать предпочтение? К кому приклониться... Тяжело беднягам...

Но просчитались все. Заведующим нашего отдела ПБ назначило Тяжельникова, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ. И сразу от Георгия Лукича Смирнова отхлынули не только ретивые выдвиженцы, но и другие заведующие секторами.

Не знаю, что произошло у Смирнова с Тяжелыниковым, но резвый комсомольский вождь лишил своего первого зама всех дел в отделе. Все бумаги шли только к отраслевым замам, которых было четверо, а пятый, он же первый, был обойдён напрочь.

Жалко было смотреть на человека. День за днём, месяц за месяцем просиживает в пустом кабинете, при скужающей секретарше в предбаннике. Я и раньше не часто заглядывал в этот кабинет своего земляка. Было как-то неудобно, начальство! Когда же Смирнов стал возглавлять отдел, хотя и как и.о., то и совсем прекратил свои визиты. Теперь же, когда Георгий Лукич был абсолютно забыт всеми, меня потрясло бездушие коллег. Я стал заходить к Смирнову и подбивать к этому сотрудников, которых считал своими друзьями.

— Неудобно как-то, — отбивались они. — Ну, ты, понятно, земляк. У вас могут быть общие разговоры... А нам зачем? На виду у всех...

Пробыв в этой дикой и не понятной мне и до сих пор изоляции, Смирнов через полгода сильно заболел и угодил надолго в больницу. Месяца три, а то и больше его не было на службе. Вошёл — кожа да кости. Краше в гроб кладут. Расспрашивать боязно, но всё же узнаю.

— Операция на поджелудочной и другие болячки.

— Что же теперь?

— Пусть решают. С этим, — кивает в потолок, там через три этажа кабинет Тяжелыникова, — работать не буду!

О, накатанный Яковлевым путь: вручить свою судьбу не апостолам, а Богу...

Уже, кажется, при Андропове Лукич (так мы называли Смирнова) уходит из отдела. Сначала возглавляет группу по написанию докладов. А с приходом Горбачёва и вовсе взмыл.

Взмыл вместе с Яковлевым. Чуть ли не в один год они оба из членкоров прыгнули в академики, оба

возглавили институты и оба стали правой и левой руками Горбачёва...

На XXVII съезде я встретил с озабоченным госдумами челом Лукича. Он остановился всего на полминуты, чтобы сказать пустые слова:

— Ну, как ты?

И побежал, уже на ходу бросив:

— К Михаилу Сергеевичу, вот с этим, — тряхнул пухлой папкой.

Академик, консультант и помощник первого лица в стране. На лацкане прекрасно сшитого тёмного костюма - значок депутата. Энергичная фигура деятельно заряжена. Лицо посвежело, хотя ещё и проступают черты недавних потрясений. С таким же значком на лацкане прихрамывает в кулуарах съезда и Александр Николаевич.

Этот не суетится. Припадает на ногу, говорит степенно, не спеша. Внимательно слушает собеседника. Всё как положено большому руководителю. Мои друзья, выбившиеся в помощники членов Политбюро, доверительно шепчут:

— Знаешь, его кабинет рядом с кабинетом Михаила Сергеевича. Здесь, в Кремле...

— Да, как же? Он ведь директор Института...

— Вот так... — загадочно уползают глаза под лоб у моих осведомителей. — Вот так... Как был ты серым...

Да нет. Я и сам вижу, какой силой завладел этот человек. Вот уж где пригодилась его бульдожья хватка! Вцепился и не отпускает Горбачёва. А многие бывшие коллеги, с которыми я работаю в РИО на съезде, наивно говорят другое: "Его Горбачёв не отпускает от себя. Видишь, как держит." Ха!

Александр Николаевич - не чета другим партийным чинушам: всем этим Соломенцевым, Щербицким, Кунаевым, Лигачёвым и прочим, которые боятся спуститься из президиума в зал, "к народу". Яковлев -

демократ. Он в круговерти делегатов в Георгиевском зале. Заглянул в буфет-столовую, где перекусывают смертные, даже выпил кофе и не позволяет друзьям расплатиться за него. Все его знают, и он многих помнит. Находит для каждого одобряющее острое слово. Каждый стремится переброситься с ним фразой, а он радушно откликается. Ну, прямо рыба в воде, а возможно, и лев в саванне...

На третий или четвёртый день съезда поднялся даже к нам, в зал РИО. За ручку с теми, кого помнит по прошлым съездам, когда он возглавлял редакционную комиссию. И общий привет новичкам.

Заглянул уже не по службе, а так, видно, по старой памяти. Его плотно окружили бывшие выдвиненцы: Зубков, Севрук, Биккенин, Оганов... Все они здесь, на выпуске речей делегатов.

Я закончил работу над очередной речью делегата и несую её на выпуск. Проходя мимо, киваю Яковлеву, но тот делает несколько шагов из плотного круга и подаёт руку.

— Как живёшь? Писатели не обижают? Ну, смотри. Случай чего...

Разводящий фитиль - Гришкевич вводит в зал очередного делегата с листками речи в руке. Новый секретарь из Сибири. Выступал впервые на съезде. Волнуется, уже и речь вытащил из папки. Увидев Яковлева, сразу бросается, как к родному отцу...

Я отхожу. Александр Николаевич не был бы сам собою, если бы отвернулся, сделал вид, что не заметил растерянного новичка. Такой анахронизм только у старых партийных бонз...

Яковлев - демократ, у него западная простота и доступность. Имидж новой волны в ПБ. Но на её гребне, пожалуй, только Яковлев. Сам Горбачев лишь в душе поддерживает эту вольность. Он трусит, побаивается ещё всесильных стариков. Вот закончится съезд,

отправятся одни на покой, другие - в ниши непартийной власти, и тогда...

А дня за три до окончания съезда в нашем зале, под самой крышей Дворца, происходит переполох. Выступал председатель Союза кинематографистов Лев Кулиджанов, имеющий много званий и наград и один приличный фильм "Когда деревья были большими". И он, с места в карьер, рванул в духе брежневских времён расхваливать Горбачёва. Да так, что все замерли. "Наш дорогой Михаил Сергеевич, ну, прямо родной отец. Он спаситель советской культуры, а уж кинематограф при нём расцвёл и штурмует небо".

Все ёжатся, жмутся. Кажется, мы уже отвыкли от этого. Некоторые редакторы прилюдно ворчат, возмущаются. Осмелели...

Оператор внутреннего телевидения (у нас не та картинка, что идёт на всю страну) выхватил кадр передачи записки Яковлевым и ведёт её до Горбачёва. Александр Николаевич сидит в президиуме на почтительном расстоянии за генсеком.

Через несколько минут, когда кинодеятель вновь, набрав в грудь воздуха, начинает славить Горбачёва, тот мягко, с неуклюжим юморком поправляет докладчика. Смех в зале. Аплодисменты, и после характерное горбачёвское "гаканье" южанина:

— Гаварите больше о деле. А Гарбачёв, он и есть Гарбачёв...

Опять смех, оживление. Дальше идут речи секретарей с мест, министров... Эти шпарят заготовленное.

В ожидании своего выступающего отхожу от телевизора и обсуждаю с ребятами из отдела "инцидент".

— Только бы не началось...

— Да, что ты? Нельзя, куда ж пятиться. Другое время...

— Всё можно, — говорит вечный инструктор Пётр Иванович Жилин. — Помните, как на первые праздники с приходом Андропова в колоннах демонстрантов не было ни одного портрета? Помните! А потом понесли, да ещё как... Не зарекайтесь...

— Тут главное - остановить, — говорит кто-то, — чтоб не началась цепная реакция. А Михаил Сергеевич как-то вяло... Надо бы рубануть!

Да, осмелели мои коллеги за те семь лет, которые я не в одной упряжке с ними. А Пётр Иванович просто молодец. На прошлом - XXVI съезде он волновался и всё спрашивал нас:

— На следующем мне будет семьдесят. За месяц или два до начала исполнится. Как думаете, разрешат мне работать с вами?

— Да, что ты, конечно...

— Восьмой мой съезд... Должны бы. Хотя после семидесяти в ЦК никого не держат...

Я рад за Петра Ивановича. Разрешили. Рад за его мудрую смелость. Бригадир обрывает нашу беседу.

— Объявили твоего Шеварднадзе. Иди!

Ребята освобождают место за столиком перед телевизором. Беру листы бумаги для пометок. Весь внимание...

Боже, что он говорит? Не верю своим ушам. Гул голосов за моей спиной: "Кошмар! Стыдоба!"

А Шеварднадзе, как закусил удила немислимых похвал Горбачёву, так и прёт, как танк. "Счастье многонациональной страны и её великой партии в том, что к руководству наконец-то пришёл верный ленинец. Человек новой формации, мудрый реформатор..."

И всё без остановки, не отрывая головы от текста и не обращая внимания на лёгкий шепоток в зале и перегляды в президиуме.

Перевернута страница речи, а осанна, какая, кажется, не касалась и ушей Брежнева, льётся и

льётся...

"Ну, вляпался!" Та спасительная мысль, что поначалу идут восточные тостовые преувеличения, развеялась. Накат откровенного панегирика неудержим. Он обязательно вызовет ту цепную реакцию, на какую намекал Пётр Иванович Жилин. Кошмар... Как же такое возможно?

Речь закончена. Горбачёв не остановил Шеварднадзе. Оператор не показывал крупный план президиума, и я не видел, как реагировал генсек. А, может, просмотрел, ошарашенный диким напором. Настроение препаршивейшее. "Но ведь не впервой! Видали всякое..."

Дослушал и жду текст речи...

Вбегает красный, как рак, Севрук. Лысина в испарине. Узнав, что я редактор, тянет меня в сторону и запально шепчет:

— Вычёркивай всё начало. Всё, где эта патока... Понял?

— Понял. А это от А.Н.? (Так теперь цековцы уважительно зовут Александра Николаевича.)

— От него. И с Самим тоже... Тебе говорят, делай! И меньше вопросов...

И тут же исчезает. Через несколько минут входит невозмутимый Гришкевич, и его голова на высокой жирафьей шее высматривает редактора. За ним – два кавказца. Один тучный, лет сорока с гаком, другой молодой, подтянутый, лет тридцати и без...

Ага, это помощники.

Тёртый калач Севрук слинял так быстро потому, что не хотел сталкиваться с ними здесь. Усаживаю "помощников Эдуарда Амвросиевича" – они так и представились – рядом, за стол. Пододвигаю "Боржоми". Не пьют. Раскрывают папки с речью своего хозяина и ждут.

В голове танцуют фразы: "Ах, какой молодец А.Н! Ах, какой хромой дьявол, молодец! Это он удержал Горбача... Но с этими надо держать ухо остро".

Как можно мягче говорю помощникам:

— Видимо, придётся начало речи внимательно просмотреть. Внимательно... И опустить кое-что... — Беру карандаш и отчёркиваю первые два абзаца. — Вот это давайте опустим.

У старшего помощника, он, видно, по ПБ, топорщатся усы и округляются глаза.

— Это почему? Как опустить?

— Да, видите, диссонирует со всей речью.

— А что? — робко замечает молодой. — Есть указание?

— Да нет. Вы же слышали, Михаил Сергеевич поправлял Кулиджанова?

— Ну, это кино... — пытается перевести разговор в шутку старший.

— Да нет. — уже настойчивее повторяю я. — Вот эти абзацы я бы тоже убрал. И прямо начал со второй страницы... Вот отсюда...

Лицо тучного грузина гневно вспыхивает, будто ему влепили пощечину. Сердитым, взвешивающим взглядом осматривает меня и цедит:

— А вы кто?

— Я редактор, — стараюсь не реагировать на оскорбление.

— Это нам ясно. Вы - редактор, — вкрадчиво спрашивает молодой. — А где работаете?

"Ого, они всё знают. Здесь нет вольных художников. Надо держаться..."

— Я - директор издательства, — как можно спокойнее отвечаю.

— А какого, если не секрет? — старается повернуть разговор в мирное русло молодой.

— Почему же секрет? "Советского писателя". А в прошлом работник отдела пропаганды ЦК...

Последняя фраза сбивает гонор старшего.

Я тут же, перевернув вторую страницу, скольжу карандашом по третьей.

— Э-э-э, дарагой, — останавливает меня старший, — так нэлзя, нэлзя! Мы далжны сагласавать с Эдуардом Амвросимовичем.

— Думаю, что с ним уже согласовали... — И отмечаю карандашом абзацы, откуда можно начать. Видя растерянность обоих помощников, примирительно добавляю: — Впрочем, кто-то из вас может связаться с Эдуардом Амвросиевичем, а мы пойдём по тексту. Дальше всё гладко, кажется. Я слушал внимательно...

Старший что-то говорит по-грузински младшему, и тот исчезает. Мы с оставшимся легко скользим по тексту. Здесь действительно всё гладко...

Перед самым концом речи натыкаюсь на осанну в честь партии, Центрального Комитета и его мудрого и испытанного руководителя. Можно было бы сократить превосходные степени, они выпирают... Но ладно, отнесем их на счёт восточного колорита...

Вижу, как мой дрогнувший карандаш настораживает кацо, с которым я почти сдружился. Карандаш бежит дальше, оставляя текст в неприкосновенности, и лицо друга-грузина расплывается в улыбке. Эх, все люди, все человеки...

Поставив свою подпись под речью, Ашот (я уже знаю его имя!) приглашает меня в Грузию. Появляется молодой помощник. Он докладывает по-грузински старшему, а тот благодушно переводит мне:

— Эдуард Амвросимович говорит: "На наше с вами усмотрение..."

— Ну, вот и чудненько...

А в Грузии я оказался меньше чем через год, на съезде писателей. Гостям из Москвы устроили

однодневную поездку по республике, в которой участвовал Сам Шеварднадзе. И в ней я совсем подружился с его милым гостеприимным помощником (молодого уже не было), а Ашот оказался прекрасным и на редкость добрым человеком, с истинно грузинским размахом в общении.

Он даже не обиделся, а хохотал, когда я ему напомнил о нашей встрече в Кремле.

— Как же хорошо мы с вами сделали, что оставили эти слова для ваших прекрасных тостов!

В конце поездки Шеварднадзе увёз на госдачу писательское начальство: Маркова, Верченко и других избранных гостей из республик. А мы сидели километрах в пятидесяти от Тбилиси, в большом доме местного чиновного князька и пили прекрасное вино из его подвалов.

Отхохотав, Ашот вскочил и стал провозглашать другой тост за его лучшего друга, русского писателя, книги которого он читает давно на грузинском и на русском языке, которого знают и любят во всей нашей необъятной стране, прекрасной души человека и прочее, прочее...

Я осмотрел нашу компанию известных писателей из России и других республик и никак не мог понять, в честь кого же этот тост. А Ашот всё нагнетал и нагнетал превосходные степени и высокие слова. И я выкрикнул:

— Да что он, умер?

— Зачем умер? Он живой, кацо. Я предлагаю, дарагой, выпить за тебя, моего давнего друга. Мы, грузинские писатели, за тебя пьём стоя!

Я не знал, как себя вести, и со всеми встал и дурашливо закричал: "Ура!"

Ну, а потом пили за каждого и тоже стоя. А по дороге в гостиницу все повально лежали в машинах...

Кажется, в этом же году была у меня встреча ещё и в Москве, на сессии Верховного Совета СССР, со всем руководством Грузии.

Демократ Шеварднадзе, хоть и был уже членом Политбюро, а в перерывах между заседаниями сессии спускался из президиума и прогуливался вместе с депутатами своей республики по залам БКД.

Здесь мы и столкнулись. Рядом с Шеварднадзе – Предсовмина Грузии, Председатель Президиума Верховного Совета республики (этих я помнил по встрече в республике) и другие.

Встретились, как добрые знакомые. Разговор зашёл о начинавшем шуметь грузинском фильме Абдуладзе "Дорога к храму". Я уже видел его, но широкого проката ещё не было. Побавались: а не чересчур ли смело?

— Как ваше мнение? Что говорят московские писатели? — спрашивает Шеварднадзе.

— Хороший фильм. Надо шире показывать. Вы его привезли?

Хитрый лис вопрошающе смотрит на своих.

— Да, — робко отвечает один из них. — В постпредстве копию можно найти.

— Ну, вот и крутите её в Москве. А то только киношники и видели. Они хвалят. А писатели, учёные, деятели театра? В их Домах творчества пусть ваши показывают...

Шеварднадзе и сам об этом знает, но спрашивает:

— Вы так считаете? — И переводит взгляд на своих коллег.

Хитрый лис сам завёл разговор о фильме. Видно, он для него – чрезвычайно важная акция. От грузин я слышал, что Шеварднадзе "принимал личное участие в судьбе фильма, начиная от сценария и кончая съёмками". Возможно, это тот самый белый конь, на котором он въедет в Москву.

8. Легенды и действительность

Объявленная весной 1985 года Горбачёвым перестройка набирает словесную силу. Шумит печать, ТВ, радио, льются потоки речей на собраниях, съездах, активах, а дела не двигаются, и уже главный прораб перестройки А.Н. Яковлев злобно кликушествует: "Перестройка пробуксовывает!" и подталкивает самого Горбачёва к "решительным действиям".

По его инициативе то в Кремле, то в здании ЦК собирают "узкие" и "широкие" совещания руководителей средств массовой информации.

Теперь они проводятся по другому сценарию. Их ведёт генсек! Выступают сами участники. Правда, каждый предупреждён клерками из ЦК, о чём он должен говорить. Но речей никто не проверяет предварительно.

К тому же на этих совещаниях можно задавать вопросы. Позволяются даже реплики с мест. Всё это – завоевания демократии!

Особенно неистовствуют на этих "сборах у самого трона" молодые (не по возрасту, а по времени работы) редактора журналов: "Огонька" – Коротич, "Знамени" – Бакланов, "Нового мира" – Залыгин. Им всё в новинку. На каждом совещании они обязательно на трибуне. Их благосклонно с кивками высоких голов и с поощрительными репликами слушают из президиума.

И вот, уже осмелев, ретивые редакторы газет и журналов не только призывают "решительно перестраиваться", но и гневно разоблачают "врагов перестройки".

Гриша Бакланов пугает "готовящимися по всей стране еврейскими погромами", а Виталий Коротич борется с консерваторами и взяточниками в самых верхних эшелонах партийной власти. Залыгин говорит о "непреходящей и решающей роли интеллигенции в перестройке".

Противно и грустно присутствовать на этих совещаниях, похожих на шабаш рвущихся к власти коллег-писателей. Им-то, творческим людям, зачем всё это? Мягко говорю Грише Бакланову (мы всё ещё дружны с ним) об этом. Но где там!

Мои старшие друзья - и Гриша Бакланов, и Сергей Павлович Залыгин - обижены тем, что они всю жизнь держали в руках только перо и не было у них архимедовских рычагов - журналов.

И вот - дорвались! Коротич, Адамович сбежали из своих республик и теперь наводят порядок в Белокаменной.

Нет, я больше не ходок на эти сборы. Благо, знаю, как выбиться из обоймы приглашаемых: надо пропустить "по уважительной причине" два-три совещания подряд, и ты вылетаешь. Новые списки составляются на основе старых. Если ты не рвёшься, тебя уже и не приглашают, забыли...

А хитрый лис Шеварднадзе уже в Москве! Что было его белым конём, сказать трудно. Но на память приходит случай, произошедший с Молотовым. На одном из заседаний Политбюро Каганович сильно расхваливал Сталина как выдающегося организатора нашей промышленности. Молотов решил переплюнуть коллегу и начал хвалить Сталина с позиций вождя партии и народа, которому пришлось работать ещё при Ленине.

Сравнения вождей у него шли в пользу ученика. Ученик превзошёл своего учителя. Ленин - дворянин, а Сталин - выходец из народа; Ленин - чистый теоретик,

а Сталин свою теорию претворяет в практику; Ленин – сложный человек, а Сталин прост, как правда...

Сталин оборвал панегирик и пожурил Молотова: "Не надо сравнивать вождей. Каждый из них велик по своему".

На следующий день Сталин начал называть Молотова "наш Вячеслав".

Возможно, и та осанна Эдуарда Амвросиевича, которую он пел на съезде Горбачёву, запала в душу Михаила Сергеевича. Но это всё же лишь один из коньков, на которых лис взобрался на партийный Олимп.

Когда теперь думаю о путях прорыва в высшие эшелоны власти, прорыва тех, кого я знал и видел в разных ситуациях, то не могу утверждать, что это происходило случайно. Его величество Случай, конечно, имел значение... Но были и определённые закономерности. Их породила сама система. Эти закономерности надо было соблюсти и выдержать. Иначе хода не было. Сколько их сорвалось по пути? Несть им числа! И только единицы добирались до самого Верха.

Но среди них были и чемпионы. Они удерживались, когда рушились сами Вершины, успевая перескочить с гибнущей на восходящую. Это уже высший класс, и высший пилотаж, и мастерство. Оно удавалось только "серым кардиналам", какие стояли за спинами "Монбланов". Так когда-то называл себя и Бухарина Сталин. Стояли и манипулировали...

Таковыми были Анастас Микоян и Михаил Суслов. Последний взошёл на Олимп ещё при Сталине, а потом удерживался на нём в течение трёх десятилетий, при всех правителях страны, вплоть до Горбачёва. О Микояне в народе говорили: "От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Но о нём я уже упоминал. Теперь о Суслове.

Нас привезли на гражданскую панихиду супруги Сулова. Мы должны были изображать скорбящий народ. Зал клуба ЦК завешан чёрным крепом, траурная музыка. Всё как на гражданских панихидах. Перед гробом ряд стульев. На одном из них сам засушенный, измождённый трудами и жизнью аскета (эта легенда активно пропагандировалась) Сулов. Рядом дочь. Зять, ещё кто-то из родных и внуки (двое или троё, не помню точно). Дети лет десяти-двенадцати в тёмной школьной форме с красными пионерскими галстуками.

О них тоже легенда. Дед держит их в строгости: учатся в обычной школе, никаких поблажек в жизни. Сама скромность и простота.

Мы заполнили зал, стоим, смотрим. Глупее состояния в жизни я ещё не испытывал: прийти на похороны неизвестного человека, о существовании которого ты ещё полчаса назад не подозревал, и глазеть на покойника и горе его близких! Зав. секторами и добровольцы из инструкторов становятся в почётный караул, нацепив на рукава красные с чёрным обводом повязки.

Переминаемся с ноги на ногу с полчаса. Я рассматриваю лицо знаменитого "серого кардинала". Оно уже лет двадцать, как утратило сходство с портретами, которые развешаны по всей стране. Бог знает, что же всё это? Хочу понять, какой идиот придумал эту показуху-кощунство. Неужели он сам – этот искренне убитый горем старикашка?

Не может быть! Это его холуи из наших идеологических отделов, кои ему подведомственны. Конечно они: Тяжельников, Шауро, Медведев (последний – зав. отделом науки). Ну, неужели же он сам не видит и не понимает этой мерзости и маразма? Как же не пресёк, не цыкнул на шавок и бульдогов?

Единственное оправдание – человек убит горем и ему не до этого. Собственно, чего я негодную, чему

удивляюсь? Ведь обжигаясь не впервой! А всё мне неймётся. Стой и сопи в две дырочки, как все! И не рыпайся!..

И стою эти полчаса, пока нас не сменяет новая партия таких же "скорбящих". "Хорошо, что хоть нам на кладбище не ехать, — замечает с радостью кто-то из нас. — Из отдела науки поедут..."

Отстоял, в автобус не сажусь. Иду пешком. А думы колесом. Да, что же это? Кто же плодит рассказы о скромности, аскетизме, человечности, уме этих сильных мира... то бишь немощных стариков.

В противовес живущему широко, с размахом (охотами, гонками на иномарках - видел сам!) Брежневу рассказывали байки о необыкновенной скромности Алексея Косыгина (тоже взошёл ещё при Сталине). Но вот попал я на Новодевичье кладбище и ахнул! Надгробные камни Чехова, Огарёва и других сынов России теснятся чуть ли не друг на друге, а Косыгин отхватил для своей покойной супруги пространство ничуть не меньше, чем Сталин для убиенной Аллилуевой. А ограды, мрамор!

Однако не о кладбищенских делах надо вести речь. Это не наше, мирское... Да и как тут судить?

Но вот поселился этот скромный вдовец напротив нашей шестнадцатиэтажной башни в пятиэтажном особняке на самой круче Воробьёвых гор. На каждом этаже по полтора десятка комнат. Этаж занимают бассейн, гимнастический зал, летний сад и прочее...

А у скромного человека только дочь и зять-грузин Гвишиани, кандидат наук. Через два года он, этот зять, — доктор. Ещё через год - членкор, а потом - полный академик. Иногда, когда цветут липы, по Воробьёвскому бульвару прогуливается этот скромный человек в одиночестве или с дочкой. А впереди и сзади по два охранника...

Живёт Алексей Николаевич бок о бок с нами уже года три. Я наблюдаю эту идиллию... И вот подходит день очередных выборов в Верховный Совет. И так случается, что утром мы с семьями идём голосовать в один избирательный участок. Я иду прямо мимо нашего зачуханного молочного магазина, а Косыгин решил заглянуть и хозяйским глазом окинуть торговую точку.

Продавцы с восхищением и страхом рассказывают: "Такой разнос устроил, так возмутился..."

А через пару дней в нашем магазине начался, как теперь говорят, "евроремонт". Сняли все деньги со всего района, выделенные на ремонт торговых точек, и сотворили из нашего "молочного" конфетку на загляденье. Всё сверкает кафелем и стерильной чистотой, продавцы в белых халатах, не говоря уже о накрахмаленных кокошниках.

А я всё не каюсь. Верю в рассказы о скромности, и государственном уме, и деловитости людей из высших эшелонов власти.

Помню, был и такой случай. Вдруг зуд и шёпот по всем пяти этажам ЦК. Дочь Косыгина выдвигают на должность директора Иностранной библиотеки!

— Ну и что! — недоумеваю я, узнав об этом от Биккенина. — Есть сектор культпросвет, пусть он...

Биккенин многозначительно прикладывает палец к губам:

— Тс-с-с... Тут проблема...

И даёт мне знак покинуть кабинет. Будет с кем-то говорить конфиденциально по вертушке.

От других узнаю, что есть действительно какая-то проблема: "То ли не знают, куда девать старого директора, то ли надо нейтрализовать сильного претендента, который ждёт этой должности много лет". У наших конспираторов понять что-либо невозможно.

Но моё дело, как поётся в той знаменитой частушке про "девку" и "борону", — сторона. А вот моего

непосредственного жалко. Аж почернел лицом в хлопотах. Видно, ему поручена "акция" по внедрению высокопоставленной дочери. Поручено, как человеку "нейтральному" (он из другого сектора) и конечно, как человеку, какой кровь из носа, а высокое доверие оправдает.

И что вы думаете: и выполнил, и оправдал. И коллектив знаменитой библиотеки, как награду, получил нового руководителя, со связями, о которых только мечтать можно...

Доходили слухи, что Иностранная библиотека преобразилась и засверкала новизной, как тот наш молочный магазин на Воробьёвке. А преобразилась... увы, за счёт обнищания своих младших сестёр – других библиотек Москвы.

Конечно, многие догадывались об этих скрытых от людских глаз чиновничьих взлётах. Существовало даже такое выражение: "телефонное" или "позвоночное право", по которым вершились подобные дела. Но большинство моих соотечественников всё же оставалось в неведении..

Теперь же при диком капитализме всё то же, но с той разницей, что делается открыто. Не знаю, что лучше? Оба варианта никудышные и подлые...

Но жить, как говорится, всё равно надо.

Я говорил о закономерностях движения на самый Верх тогда, в моё время. Они, конечно, существовали. Пробивались люди не только хитрые, с изворотливым умом, умеющие просчитывать ситуации, но и люди-бойцы, с железной хваткой и волей, которые могут переступить не только через светские и нравственные законы, но и сломанные ими же судьбы друзей и близких.

Только такие могли выжить и удержаться наверху, когда ситуация в стране перевернулась на сто восемьдесят градусов. Уж как преданы были Горбачёву

- Яковлев, Алиев, Шеварднадзе и другие первые секретари в республиках, которых он извлёк из "клана" своих комсомольских друзей, а ведь все отшатнулись и успели спрыгнуть с тонущего корабля.

Предали? Нет! Тех, которые сами многократно предавали, не предают. Их сбрасывают, как изношенные туфли.

Когда Горбачёв ещё при неограниченной силе Генсека молотил рвущего у него власть Ельцина, Яковлев, в отличие от Лигачёва и других секретарей ЦК, не кинулся в эту свару. Он выжидал, чья же сторона возьмёт верх. И даже тогда, когда Ельцин был вроде бы повержен и отправлен с первого секретаря МК в зачуханный Госстрой, он отмолчался. Думаю, отмолчался лишь публично. Самому же он, конечно, нашёптывал о своей преданности и подавал советы, как расправиться с отступником. Когда шла агония несчастного, инфантильного ГКЧП, Яковлев также не проявлял себя публично, а вот, когда "Горби", любимца Запада, доставили из Фороса в Москву и потребовали отречения от президентства, он пришкандыбал в Белый дом, где ельцинисты шумно праздновали свою победу...

Тут же влез на трибуну и провозгласил программную речь. Главным в ней был вопль: "Теперь надо не допустить в наши ряды победителей всякую шпану! Надо зорко следить, чтобы она не пролезла!"

Яковлев охотно позировал перед телекамерами, рассказывая, как спецслужбы Горбачёва в последние недели установили за ним "наружку" и не давали ему проходу...

И пошла-поехала его кипучая деятельность у трона нового президента, теперь уже России, который ради этой вожделенной цели развалил великую страну. В этом угаре-эйфории, в каком-то интервью, которые Ельцин тогда давал по нескольку на дню, мелькнул такой пассаж. Репортёр спрашивает об отношении

Ельцина к кульбиту Яковлева от одного президента к другому. И тот отвечает приблизительно следующее:

— А что Саша? Он нормально поступил, нормальный мужик...

И это ещё раз подтвердило мою мысль, в которую я уверовал за многолетние наблюдения с близкого расстояния за этими, скорее нелюдьми, чем людьми. Они не предадут друг друга. Да в их жизненных нормах и нет такого понятия. Они руководствуются всё теми же старыми коммунистическими принципами революционной целесообразности, а не моралью.

9. На новой службе

Мои наблюдения с близкого расстояния за партийной элитой привели к выводу, что в её среде два параллельных течения. Одни, так называемые чистые партийные функционеры, которые своё начало ведут от Сталина, а, может быть, чуть и раньше, словом, от профессиональных политиков-революционеров. Они считаются высшей кастой.

Второе течение, или второй эшелон – это специалисты-учёные, а проще – интеллектуальные рабы, которым, как и притоку, не суждено навязать своего названия, так и им, интеллектуальным рабам, никогда не выбиться в первые лица.

Самая высшая их ступень в партийной иерархии – "серый кардинал" при Папе-Генсеке. Это Бухарин, Суслов, Шепилов, Яковлев... И несть им числа.

Все они выбивались лишь к подножию трона. И никогда не взбирались на него. Там восседали энергичные самоучки и неучи без интеллигентных комплексов, начиная от заочника Ленина (закончившего экстерном университет), до юриста без единого дня практики Горбачёва. Эти чистые партийцы всегда свысока, а часто и с презрением смотрели на интеллигенцию.

Ленин цинично называл ее говном, Сталин – мозгляками, а Хрущёв устраивал интеллектуалам, художникам и писателям прилюдные порки и разносы.

Даже в отделе пропаганды, где призваны были работать с интеллигенцией, очень чётко происходило это разграничение. Работники типа Марата Грамова, пришедшие с партийных должностей в обкомах, с кастовой брезгливостью смотрели на своих коллег – кандидатов и докторов наук. С их брезгливых губ так и

рвалась знаменитая фраза легендарного Василия Ивановича: "Мы академиев не кончали!"

А уж сами они и не помышляли о диссертациях... Зачем? Когда есть рабы-интеллектуалы.

Зато среди второго потока шёл постоянный зуд и шёпот от диссертационной суеты. Кандидаты рвались в доктора, доктора - в членкоры, а те - в академики. Правда, это были ещё те учёные! Я пытался читать их рефераты и книги. И почти всегда это была примитивнейшая наукообразная стряпня и скуловорот.

После Яковлева самым умным среди "отдельских учёных" был Леон Аршакович Оников. Кажется, у него не было ни одной книги. (А может, он просто не дарил?) В группе консультантов он считался одним из лучших перьев. Его коллеги защищали диссертации, переходили в помощники, в зав. секретари и в зам. зав. отделов, а Леон, как замороженный, пребывал в консультантах.

Попадая в воскресные дни на дачи, я получал огромное удовольствие от общения с этим человеком. Он всегда смело и оригинально мыслил и поражал знаниями. Однако, как мне казалось, Леон намеренно глушил свой острый ум и широкую эрудицию спиртным. Человек широкой кавказской души, он до самозабвения обожал дружеские застолья. Вот уж где раскрывались его добродетели: и глубокий ум, и блестящее острословие, и широта познаний...

Мне всегда было так интересно слушать его рассказы "о случаях из жизни", его словесные портреты об умерших и ныне здравствующих знаменитостях, которые все поголовно были "его друзьями", что я постоянно рвался на эти мужские посиделки.

Как-то пригласил меня Леон на 50-летний коньяк. Было это сразу после того, как в отделе отмечали мой юбилей. Пятидесятилетия у нас отмечали официально заседанием всех сотрудников с речами начальства,

вручением Почётной грамоты Верховного совета РСФСР, но без всякой выпивки.

И вот Леон на второй или третий день затащил меня к себе. Отец его был знаменитым виноделом в Армении, и его друзья прислали сыну в Москву этот дорогой подарок.

Сидим за стеклом перед пузатой тёмной бутылкой из рифленого стекла. На бутылке, как у дореволюционного дворника, через шею на цепи медная бляха с армянскими письменами. Леон учит меня, как пить пятидесятилетний коньяк. Наливает в большие закруглённые фужеры и, согревая хрусталь ладонями, подносит напиток к лицу. Я повторяю его магические действия.

Коньяк богов! На закусь лимон, кавказская зелень и твёрдая, как камень, бастурма, которую, как и лимон, можно только сосать.

Я завожу речь о своём открытии – двух течениях в партийной иерархии.

Леон склоняется над своим фужером, смачно втягивает благоуханный аромат и согласно кивает. Иногда вбивает в мой запальчивый рассказ шпильки-слова: "Да, так! Конечно! А ты думал как?"

Разогретый небесным ароматом и неземным вкусом коньяка моего ровесника, допытываюсь у Леона:

— Ну, скажи, умнейший человек, каких я только знаю, почему у нас такие дикие порядки? Почему эти мурла над всем и всеми?

— Ай, — отмахивается, не выпуская из рук фужера Леон. — Всё идёт наперекос. Всё наперекос...

— Это ещё дед Щукарь говорил, только по-другому: "Всё наперекосяк пошло!"

— Ну, вот, видишь! И сам знаешь, а спрашиваешь.

— Ты брось ерничать. Лучше скажи, почему туда пробиваются одни неучи, недоумки. Почему ни один настоящий учёный не поднялся на самый Верх? И ведь

не только у нас! А и в других странах. Всегда правили и правят сейчас или дубы военные, или прожжённые политиканы...

— А потому, что у твоих учёных!.. — почти кричит Леон. — У твоих учёных кишка тонка!

И с силой стукнув ножкой фужера о стол, тянется к пузатой бутылке.

— Давай, Володя, лучше коньяк пить. Тыдохлый разговор затеял... Пятидесятилетним коньяком по твоему пятидесятилетию! — И раливает в фужеры остаток напитка.

— Вон, как Тяжелыников тебя умащивал. Не верь! Словоблудие чинуши. Высматривай зорче и беги отсюда! У тебя другая профессия... Ты не отсюда...

— А ты? С твоим умом и знаниями. Хотя бы докторскую защитил. Ты же тома им написал! Вон, смотри, наш Биккенин уже в членкоры рвётся. А Лукич в академики... Они ведь тоже им пишут. Но и себя не забывают.

— Хватит с меня и того, что осилил. И то противно было... Давай за тебя.

— А я за тебя!

И мы звонко, как шпаги, скрестили фужеры.

— За неимением другого оружия, — шутит Леон. Потряхивая остатками коньяка в фужере и, улыбаясь своей широкой заразительной улыбкой, добавляет: — А что? Не самое плохое из всех на земле оружие...

Это было последнее наше застолье.

Через пару месяцев из Союза писателей пришла бумага с просьбой освободить меня от работы в аппарате ЦК и утвердить в должности председателя правления и директора издательства "Советский писатель".

Это случилось в декабре 1978 года. Назначенный на эту должность, я ещё два месяца проработал в ЦК, съездил в замечательную командировку по линии Союза

журналистов (впервые за десять лет!) в Индию. И только в начале следующего года вышел на новую службу.

Уже работая в издательстве, несколько раз встречал Леона, но так, мельком, на бегу, с коротким разговором. И всегда он был сердечным.

Когда вызывали в "родной" отдел (без вызовов не являлся!), забегал обязательно в его комнатушку на пятом этаже.

Но его часто не было. "Сидит на даче, пишет..." - отвечали бывшие коллеги.

Как-то вечером заскочил в наш ЦДЛ и в вестибюле столкнулся с пьяненьким Леоном. Тянет в дубовый зал.

— Сижу с друзьями. Там и твои писатели...

— Нет, Леон, не хожу туда.

— А-а-а, — понимающе тянет Леон. — Нельзя, разорвут?

— Вот именно.

— А мне говорили, что тебя видели с Гришей Баклановым в Доме кино. В ЦДРИ тоже...

— Какая потрясающая осведомлённость!

Леон хохочет:

— Наша школа!

Я соглашаюсь:

— Да, бываю. Но редко. Давай лучше про тебя, Леон. Твой лучший друг Горби рулит и ты теперь рядом? В партийном раю?

— Да, да, — заливается Леон. — В раю, но на краю! На самом краю, Володя. — И вдруг, ухватив меня за обе руки, пьяно притягивает себе и горячо шепчет: — Знаешь, я понимаю, тебе нельзя сюда вечером. Но давай утром. В пять утра. Мы каждую неделю здесь собираемся на хаш... Да! В вашем ресторане! Отличные ребята... Посидим... Я тебе позвоню, когда у нас будет следующий сбор. Идёт?

— Идёт!

Обнимаемся. А Леона уже разыскивают его друзья...

Больше встреч не было. Лет через шесть-семь, уже при издыхании горбачёвской перестройки, когда рухнула КПСС и ельцинские нувориши вопили в СМИ о "деньгах партии", в "Правде" прочёл трёхколонник за подписью "Леон Оников".

Читал взахлёб, будто встретил друга. В статье делается попытка анализа краха партии коммунистов в нашей стране.

О, жив курилка! Прямо слышу его интонацию.

Но ведь я и сам, да и другие это знают. Главный итог – рухнула! А причин много. В том числе и те, про которые пишет Леон...

И совсем недавно, летом 1998 года, прохожу к родному зданию ТАСС, и вдруг из подъезда выскакивает с папкой под мышкой озабоченный Леон. Обрадовался! Хотел крикнуть. Нет, нагоню и обниму сзади. Прибавляю шаг, а он, постаревший, но такой же шустрый, шмыг в чёрную "Волгу" и был таков.

Смотрю на удаляющийся номер машины. Кажется, теперь такие номера на машинах администрации Президента. А машины-то из бывшего гаража ЦК.

И всё равно порадовался за друга. "Жив курилка! И где-то служит. Жить-то надо..."

...Я уже говорил, что мой ангел-хранитель – писательство. Те, кому доведётся читать мои книги, увидят и поймут, чем и как я жил в разные годы. И каким было это раздвоение между службой и писательством.

Иногда они разбегались дорогами в разных направлениях (служба в ЦК), иногда шли параллельно (журналистика), а часто и сливались в одно русло (работа в издательстве, общение с писателями). Вот лишь один пример раздвоения. За время работы в аппарате ЦК я написал и издал четыре книги и одну пьесу "Опять Гаранин". И её соавтором был мой друг –

Феликс Серавин из отдела машиностроения ЦК, который выверял производственную интригу. Пьеса по тем временам острая и спорная.

В центре – трагическая фигура начальника ОТК крупнейшего машиностроительного завода. Он восстал против руководства и застопорил выпуск некачественных машин. Пьеса уже репетировалась артистами МХАТа, и я подумал, куда же мы, два работника аппарата ЦК, очертя голову, лезем?

Но ничего не сказал своему коллеге-соавтору. Ай, волков бояться... Пусть Феликс надеется, что нас спасут фиговые листочки-псевдонимы, которыми мы прикрыли наши подлинные имена.

Около года шла волынка с постановкой пьесы и снятием фильма. За это время Яковлев оказался уже в Канаде. А снятый фильм вдруг понравился высокому начальству на телевидении. И они решили им начать передачи, посвящённые открытию XXV съезда партии.

У фильма была хорошая пресса. Его сразу показали по нескольким программам. Да и потом он держался на телевидении лет пять. Скоро и наши друзья узнали, кто скрывается под псевдонимами Ф.Александров и В.Николаев. Помню, друзья по службе, вычитав в программах ТВ об очередном показе нашего фильма, распахивали двери кабинета и дурашливо кричали:

— А сегодня опять Гаранин!

При Тяжельникове я проработал года четыре, и в последний, когда отмечалось мое пятидесятилетие, он больше говорил о юбиляре не как о работнике отдела, а как о писателе, упоминая и эту пьесу.

Думаю, это было единственное, что он знал из мною написанного. После того, как закончилось это скучное "мероприятие", ко мне подошли наши отделские ребята:

— Что бы это значило? — гадали они.

Женя Велтистов (он тогда недавно пришёл в сектор ТВ) обрадованно сказал:

— А, может, это сигнал к послаблению. Может, и не надо теперь нам прятать свое писательство?

— Ой, вряд ли! — усомнился я. — Скорее сигнал к выявлению, сколько нас таких в отделе.

— Точно! — со смехом подхватил Виктор Бакланов. — Видели, как заерзали на стульях зав секторами. Мой Иван (Зубков) так и впился в меня, когда тебя славили.

Виктор время от времени и, конечно, под псевдонимом, печатал юмористические рассказы и байки на шестнадцатой полосе "Литературки".

— Ну, знаешь, — успокаивал всех Велтистов. — Главное — теперь есть прецедент. Случай чего, можно сослаться. Бог не выдаст... раз из уст самого...

Мы поговорили ещё о великой силе прецедента в нашей работе. Если что-то "полукрамольное" прошло в печати или обнародовано на ТВ и радио, значит, можно уже сослаться, как на разрешённое. Это великое спасительное правило "всесильного прецедента" много раз выручало меня и позже, в издательской работе. Сотрудникам, а также и писателям всегда говорил:

— Хотите пробить в печать повесть, роман, рассказ... ищите прецедент! Доказывайте: "Такое уже было!" Уловка всегда действовала безотказно.

Не знаю, помог ли Жене Велтистову тот юбилейный прецедент в экранизации его хорошей повести "Приключения Электроника". Фильм вышел, когда Женя ещё работал в ЦК, но это произошло, видимо, через год или два после моего ухода.

Женя продолжал работать там же, в секторе ТВ, и он там же, в числе других авторов фильма, как сценарист, получил Государственную премию за эту картину.

А это уже было прецедентом из прецедентов. Такое в идеологическом отделе ЦК случилось впервые. Жалко, что Велтистов рано умер. Но знаменитый детский фильм показывают по ТВ и сейчас.

Начав эту главу с упоминания о переходе на новую работу, я всё время возвращаюсь к службе на старом месте. И это не случайно. Попав в совершенно другую, как сейчас говорят, неадекватную среду и иную рабочую ситуацию, я всё время обращался к тому опыту общения с творческой интеллигенцией, который приобрёл на старой работе.

Не разбираясь в тонкостях издательского дела, я доверял мнениям специалистов, но понимал, что этому можно следовать недолго. Если сам не вникнешь в существо дела, то рискуешь оказаться обманутым.